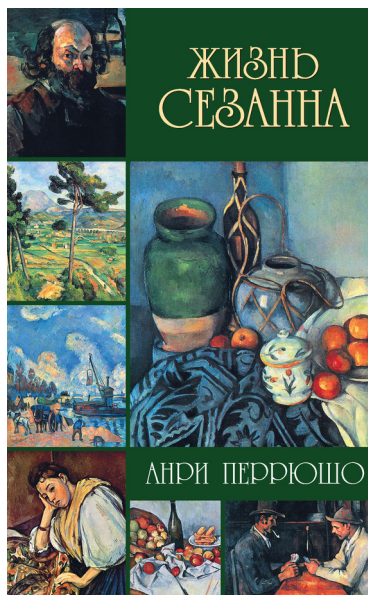




Жизнь в искусстве (АСТ)

Анри Перрюшо
Жизнь Сезанна

«АСТ»

1959

УДК 75(44)(092)
ББК 85.143(3)

Перрюшо А.

Жизнь Сезанна / А. Перрюшо — «АСТ», 1959 — (Жизнь в искусстве (АСТ))

Писатель Анри Перрюшо, известный своими монографиями о жизни и творчестве французских художников-импрессионистов, удачно сочетает в своих романах беллетристическую живость повествования с достоверностью фактов, пытаясь понять особенности творчества живописцев и эпохи. В своей монографии о знаменитом художнике Поле Сезанне автор детально проследил творческий путь художника, процесс его профессионального формирования. В книге использованы уникальные документы, воспоминания современников, письма.

УДК 75(44)(092)
ББК 85.143(3)

© Перрюшо А., 1959
© АСТ, 1959

Содержание

Предисловие	6
Пролог	7
Часть первая	15
I. Эта коробочка акварели...	15
II. Коллеж и дружба	21
III. «И я художник»	38
IV. Парижские мансарды	56
V. «Неизбывно желание наше»	65
Часть вторая	69
I. Завтрак на траве	69
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Анри Перрюшо Жизнь Сезанна

Henry Perruchot

LA VIE DE CEZANNE

Книга печатается с разрешения издательства Hachette Livre и литературного агентства

Anastasia Lester

«LA VIE DE CEZANNE» by Henry PERRUCHOT

© Librairie Hachette, 1959

Все права защищены.

© ООО «Издательство АСТ»

Предисловие

«Эта книга отнюдь не роман-биография», – снова повторяю я те слова, какими начинается моя «Жизнь Ван Гога».

Я узнал о Сезанне все, что только известно о нем ныне; я собрал и сличил все имеющиеся о нем материалы; я посетил места, где он жил, пытливно вглядывался в природу и вещи. Короче говоря, я не привел здесь ни одного факта, достоверность которого не мог бы доказать.

Сезанн не легко поддается изучению. Он был человеком довольно скрытным. Люди, знавшие художника, оставили нам ряд его портретов, но все они противоречат друг другу. Однако это еще не самая большая трудность, с какой сталкивается на каждом шагу биограф Сезанна. В противоречиях я силился разобраться. Я пытался за всем поверхностным и случайным проследить глубокую преемственность явлений одной жизни. Удалось ли это мне? Хочу верить. Задача, которая подчас казалась неразрешимой, была в то же время задачей увлекательной.

Считаю своим долгом отметить, что я бесконечно многим обязан господину Джону Ревалду, чьи ученые труды дают богатый, тщательно выверенный материал для изучения не только творчества Сезанна, но и всей истории импрессионизма в целом.

Весьма полезными оказались для меня также исследования гг. Лионелло Вентури, Джерстла Мэка, Бернара Дориваля, Жана де Бекона и др. Не могу не выразить глубокой признательности и госпоже Эмиль Бернар, открывшей мне доступ к своим семейным архивам и предоставившей в мое распоряжение много очень ценных неопубликованных документов, а также и в адрес госпожи Е. Блонде-Флери и гг. Р. Авезу, Мишеля-Анжа Бернара, Жюля Жозе, Губера Жюэна, Эмиля Ламбара, Анри де Мадейана, Виктора Николла, Люсьена Ноэля, которые помогли мне уточнить некоторые частности, снабдив меня материалами или указав источники весьма необходимых сведений.

А. П.

Пролог

Финансовый гений провинции пятидесятих годов

Мой отец был человеком гениальным: он оставил мне двадцать тысяч франков ренты.

Поль Сезанн

Экс-ан-Прованс спит уже свыше полувека. Был он столицей, стал всего-навсего суб-префектурой. XVII и XVIII века – свидетели его наивысшего расцвета. То были времена, когда местная знать, все эти Вовенарги, Этьены д'Орв, Руссе-Бульбоны, Форбены, Сен-Марки и многие другие дворяне построили столько прекрасных особняков на Бульваре, разбитом ровно двести лет назад. Времена те миновали. «Экс – это Помпея», – говорит Луиза Коле¹. Экс дремлет.

В 1850 году «весь Экс» насчитывает лишь семьсот знатных фамилий, однако он уже отстал от века. Экская аристократия доживает последние дни. Большинство ее представителей замуровывается в своих старых особняках. Они составляют кружок чопорных, угрюмых чудаков, ревниво цепляющихся за прошлое, за утраченное богатство, чудаков, незримо влачащих полуголодное существование среди предметов старины, на которые давно зарятся антиквары. В воскресные дни по городу кружит последний портшез, портшез маркизы де ла Гард. Маркиза проплывает в нем, как призрачная тень былого, чем, по существу, и является: ведь эта дама весьма преклонных лет живет лишь памятью о том незабываемом для нее дне, когда она была в Версале представлена Марии-Антуанетте; к слову сказать, если бы не факельщики похоронного бюро – маркиза передела их в свою ливрею, – она осталась бы без носильщиков. Потрясающий анахронизм, но в конце концов не больший, чем та условная граница, что делит Бульвар надвое: южная аллея – для дворян, северная – для простолюдинов².

И все же Экс живет. Вчерашний аристократ, он сегодня обуржуазивается, Экс ударяется в коммерцию. На Бульваре, в самом сердце города, где долгие годы не было ни одной лавки, где до революции право на существование имели лишь кафе, на этом Бульваррре (воспроизводя эксское произношение) развелось немало торговых предприятий; а кафе – число их сильно приумножилось – теперь играют еще и роль почтово-пассажирских контор. Да, Экс живет наперекор всему. При Луи-Филиппе, уже два года как свергнутом, здесь был основан филологический факультет, а также педагогическое и техническое училища. Сейчас на городских улицах, и в первую очередь, конечно, на Бульваре, собираются установить газовые фонари. Открыли скотопригонный двор. В течение последних четырех лет в Эксе сооружается канал, чтобы, по замыслу инженера Франсуа Золя, город с тридцатью фонтанами больше не страдал в засуху от недостатка воды. Одновременно, и тоже не менее четырех лет, здесь строят железную дорогу, которая вскоре соединит Экс с Роньяком; может статься, что в один прекрасный день тут проведут и другие железнодорожные линии и они свяжут Экс с одной стороны с Марселем, а с другой – с Пертюи³. Но до той поры, конечно, много воды утечет. Экс живет, но не бурно, не суетливо. Это все тот же заштатный город, стоящий в стороне от сутолоки промышленного века.

¹ Луиза Коле (1808–1876) – французская писательница, уроженка Экса. Ее перу принадлежит много книг для юношества. (Прим. пер.)

² Такое разграничение продержалось до 1918 года.

³ Пертюи – главный город департамента Воклюз. (Прим. пер.)



Панорама города Экс-ан-Прованс. Современный вид.

Считанные фабрики, какие имеются в нем, изготавливают шляпы, охотничью дробь... и миндальные пирожные⁴. Маловато, пожалуй, но для такого города и это, собственно, много. Экс предпочитает грезить о том, чем он был, нежели думать о том, чем он мог бы стать. К тому же бывшую столицу Прованса подавляет оттеснивший ее Марсель, шумный, многолюдный, промышленный Марсель. Экс и не пытается тягаться с ним; где ему, да и зачем. У Экса одна забота, как бы только сохранить свои прерогативы: ведь он город академии, город апелляционного суда, город епископства. Гуляя по Бульвару, под платанами, не так давно сменившими двухсотлетние вяза (их пришлось срубить: во время революции на них повесили нескольких дворян), профессора и лица судейского звания сталкиваются с канониками и высшими духовными чинами. Экс истинно благочестивый город. Если отличительную особенность бывшей столицы Прованса составляет скопище «августейших» вдов и престарелых дворян, то не менее характерна для нее и сутана. Иезуитов и капуцинов здесь больше чем достаточно. Они вносят нотку своеобразия в чуть грустное, дремотное очарование этого тихого города, где в легком плеске журчащих фонтанов слышится старая как мир песнь.

⁴ Экс славится этими пирожными. (Прим. пер.)



Поль Сезанн. Пейзаж в Эксе.

* * *

В этом сонном городе (каких-нибудь двадцать семь тысяч жителей) предметом постоянных разговоров для всех служит один человек. Дворянство не удостаивает его вниманием. Буржуазия презирает его, держит на расстоянии и втайне завидует ему. В народе он вызывает ревнивое восхищение.

Этого пятидесятилетнего, ладно скроенного человека зовут Луи-Огюст Сезанн. Тяжелое, лишенное растительности лицо, высокий, с залысинами лоб, две волевые складки меж резко очерченных бровей – внешность буржуа времен Луи-Филиппа, буржуа, который собственноручно штопает себе одежду и вряд ли может быть заподозрен в пристрастии к каким бы то ни было метафизическим бредням. Взгляд его тверд и в то же время ироничен. «Башковит!», как говорят в том краю, да, башковит, спору нет. И он это наглядно доказал.

В 1650 году, примерно в период расцвета Экса, нищие горцы, влачившие жалкое существование в Чезане – городке, затерянном в Приморских Альпах, – пришли из-за гор в Бриансон. Путь их был недолог, так как не более двадцати четырех километров отделяет эти два пункта, расположенные по обе стороны того знаменитого Женевского перевала, которым в ходе истории поочередно пользовались Ганнибал, Цезарь и Карл VIII; и они, эти горцы, несомненно, не чувствовали себя здесь на чужбине, поскольку Чезана – местечко французское и по языку и по обычаям – входила тогда, и долгое время спустя, в состав Бриансонского края⁵ Переменив место жительства, пришельцы приняли имя родного городка и стали

⁵ В описываемую эпоху фамилии обитателей Чезаны были самые что ни на есть французские: Бланше, Бувье, Ру,

называться Чезаннами, или Сезаннами, или же Сесаннами, фамилия их еще долго писалась по-разному.

В Бриансоне Сезанны не разбогатели. Один из них, Блэз, сапожничал и был значительно богаче чадами (у него их была целая дюжина), нежели звонкой монетой. Сезанны, по крайней мере некоторые из них, снова пустились кочевать. В Эксе с 1700 года обосновался Дени Сезанн, чья семья тоже разрослась, но нисколько не разбогатела. Цирюльники, портные – вот кем стали эские Сезанны; казалось, им вовек не суждено выбиться в люди. Внук Дени Сезанна, Тома-Франсуа-Ксавье, родившийся в 1756 году, в свою очередь, захотел попытать счастья где-нибудь вне Экса и отправился портняжить километров за двадцать к юго-западу, в маленькое местечко Сен-Закари, расположенное по ту сторону Регеньяской горы. Ему было на роду написано умереть там в 1818 году, преуспев ни больше и ни меньше, чем преуспел любой из его родственников. Он оставил после себя двадцатилетнего сына Луи-Огюста Сезанна, того самого, о ком и ведется речь.

Луи-Огюст родился в Сен-Закари в эпоху Директории, 10 мессидора, год I (28 июня 1798 года) хилым, тщедушным ребенком. Однако с возрастом он поздоровел, а к тому времени, как скончался его отец, превратился в крепко сбитого парня, в котором жизнь кипела ключом. Невероятно честолобивый, он рассудил, что в местечке Сен-Закари ему никогда не представится случая выбраться из трясины, засосавшей его сородичей. И он тем же путем, каким следовала его семья, только в обратном направлении, вернулся в Экс, где поступил на службу к Дете, торговцам шерстью.

В начале прошлого века в Эксе до какой-то степени процветала одна лишь отрасль мелкой промышленности – шляпное производство, старинное эское ремесло. Окрестные фермеры разводили кроликов, из пуха которых многие городские фабрики изготавливали фетр. Экс понемногу экспортировал фетровые шляпы во все страны.

Луи-Огюст решил изучить шляпное дело и с этой целью в 1821 году двадцатитрехлетним юношей отправился в Париж.

Он провел в столице без малого четыре года, работал как вол и в скором времени стал из ученика рабочим, а затем приказчиком. Хозяин уважал его; хозяйка и того больше, однако злые языки утверждали, что совсем по иным причинам. На его месте всякий не столь воинственный малый считал бы, что достиг предела мечтаний. Луи-Огюст полагал иначе. В 1825 году – ему уже исполнилось двадцать семь лет – он с твердым намерением начать борьбу вновь причалил к эским берегам.

Вряд ли за время обучения в Париже Луи-Огюст не скопил денег. Во всяком случае, не успел он приехать в Экс, как в компании с неким Мартеном открыл магазин по продаже и экспорту шляп, и где же? В самом центре Бульвара, в доме № 55, на углу улицы Гран-Карм. Видимо, совладельцы сочли необходимым увеличить основной капитал, ибо вскоре взяли себе в компаньоны третьего пройдоху, некоего Купена, дельца под стать самому Луи-Огюсту. Так было положено начало фирме «Мартен, Купен и Сезанн»⁶. По Эксу пошли толки. Весь Бульвар, террасы всех кафе облетел каламбур, на общий взгляд довольно каверзный; остроты, многозначительно подмигивая, обыгрывали фамилию Сезанн: «Мартен, Купен и Сезанн – итого восемнадцать ослов»⁷.

Мартэн, Фор, Тисселан, Понсе, Мансон и т. п. В 1713 году согласно Утрехтскому договору Чезана разделила участь бриансонских долин восточного склона, которые Франция обменяла на Барселонскую долину. Позднее, по мере того как итальянские географические названия офранцуживались, Чезана стала Сезанной.

⁶ Еще и по сей день можно, хотя и с трудом, разобрать на фасаде этого дома полустертую вывеску: «Шляпный магазин, бульвар Мирабо, продажа оптом и в розницу». Но что бы ни писал по этому поводу местный эрудит Марсель Прованс, тут, несомненно, идет речь не о фирме «Мартен, Купен и Сезанн», ибо Бульвар был переименован в бульвар Мирабо в 1876 году, то есть полвека спустя.

⁷ По-французски фамилия «Sezanne» звучит как «Seize ans», что значит «шестнадцать ослов». (Прим. пер.)

Насмешка совершенно необоснованная. «Восемнадцать ослов» не одному эксовцу утерли нос: их фирма быстро пошла в гору. Луи-Огюст нисколько не ошибся в выборе пути. Теперь, наконец, путь к богатству был для него открыт.

В глазах Луи-Огюста истинную ценность имели только деньги – неоспоримое доказательство признания и успеха. Этот осторожный и в то же время смелый делец, ловкий и настойчивый, жадный и педантичный, был наделен безошибочным чутьем и изобретательным умом; невероятно вспыльчивый, деспотичный, не щадящий ни себя, ни других, прижимистый в силу необходимости, но воздержанный по натуре, он, движимый в погоне за богатством какой-то неумной страстью, копил луидор за луидором. При всей пылкости темперамента любовь нисколько не волновала его. Лишь когда дела его фирмы приняли широкий размах, он в сорокалетнем возрасте вступил в самую прозаическую связь с двадцатичетырехлетней девицей Анной-Элизабетой-Онориной Обер, дочерью резчика по дереву, изготовлявшего стулья, и сестрой одного из своих служащих⁸. От этой связи родились сын Поль⁹ и спустя два года дочь Мария¹⁰, которых Луи-Огюст признал с первого дня их рождения. Однако он еще три года тянул, пока решился узаконить эти отношения, по правде говоря, в ту пору довольно распространенные. Лишь 29 января 1844 года он сорока пяти лет от роду обвенчался с Элизабетой Обер.

Никто не мог бы тогда назвать точную сумму его капитала, но она, несомненно, была значительной. И вот доказательство: когда через год компаньоны разошлись, Луи-Огюст не только остался единственным хозяином магазина, но занялся еще и другого рода деятельностью.

⁸ Елизабета Обер родилась в Эксе 24 сентября 1814 года.

⁹ 19 января 1839 года.

¹⁰ 4 июля 1841 года.



Поль Сезанн. Портрет Луи-Огюста Сезанна, отца художника, читающего “Эвеман”.

Надо сказать, что кролиководы, снабжавшие эскую шляпную промышленность кроличьими шкурками, нередко бывали стеснены в средствах. Боясь, как бы их затруднения не сказались на делах, Луи-Огюст время от времени ссужал их деньгами – разумеется, под проценты. Вот тут он и заметил, что это само по себе недурной источник дохода. Он умножил подобного рода операции и вскоре стал присяжным займодавцем не только эксовцев, но и жителей всего края. Забросив мало-помалу свой магазин, он в конце концов увлекся финансовыми сделками. Однако Луи-Огюст не мог развернуться так, как хотел бы, поскольку в Эксе уже имелся один банк, банк Барже на улице Ансьен-Мадлен. Надо бы самому открыть банкирский дом и конкурировать с Барже, да дело это, пожалуй, рискованное, раздумывал Луи-Огюст: удача отнюдь не вскружила ему головы.

Луи-Огюсту не пришлось долго думать: в 1848 году банк Барже потерпел крах. Луи-Огюст решил, не откладывая, учредить новый банк. Вступив в переговоры с бывшим кассиром обанкротившегося дома, Кабассолем – фамилия исконно провансальская, – который,

не имея ни лиара за душой, обладал зато большим опытом, он пригласил его в компаньоны. Оба дельца не замедлили прийти к соглашению: договор заключается на пять лет и три месяца, после чего может быть возобновлен; прибыль делится поровну; Кабассоль способствует процветанию дела своим искусством, то есть обширными и точными познаниями в области техники банковских операций, а Сезанн – капиталовложением¹¹.

1 июля состоялось торжественное открытие банка «Сезанн и Кабассоль». Луи-Огюст вложил в дело 100 тысяч франков золотом¹².

* * *

1850 год. Вот уже немногим больше двух лет, как банк «Сезанн и Кабассоль» начал свою деятельность. Он процветает. Оба компаньона, не уступая друг другу ни в хитрости, ни в сребролюбии, не позволяют себе никакой роскоши. С обоюдного согласия каждый из них получает на свои личные расходы всего лишь по две тысячи франков в год; правда, Луи-Огюсту капитал приносит проценты – пять процентов, – другими словами, дополнительный доход в пять тысяч франков. Ну и что из того! Луи-Огюст не привык транжирить, и надо думать, никогда не усвоит такой привычки. Ликвидируя шляпное заведение, он отложил для себя на особо торжественные случаи несколько цилиндров и, что куда важнее, целую партию картузов с наушниками и длинным козырьком для ежедневного употребления: головными уборами он обеспечен до конца жизни, на них ему, конечно, не надо будет больше тратиться. Ничего удивительного, что Луи-Огюст становится мишенью для шуток всех городских остроловов. «Видел ты черпак папаша Сезанна?» – спрашивают они, издеваясь над его картузом. Луи-Огюст прикидывается тугим на ухо. Насмешливым взглядом мерит он с головы до ног этих сиятельных вдов, разодетых в шелка, и дряхлых маркизов в крахмальных манишках. Несмотря на их вельможный вид и надменный, рассеянный взгляд, каким они удостаивают всех и вся, он хорошо знает, какова им цена в переводе на золото; и так же хорошо знает, чего стоит он сам, несмотря на свой непрезентабельный костюм, картуз и грубые деревенские башмаки из толстой белой кожи, на которых он раз навсегда остановил выбор, потому что их не надо чистить.

Когда гарантии, представляемые каким-нибудь заемщиком, кажутся банкиру сомнительными, он своим провансальским говорком бросает: «А вы, Кабассоль, что скажете?» Условленная фраза, скрытый смысл которой, ясный для обоих дельцов, таков: «Откажите: должник ненадежный, для таких у нас нет денег». Платежеспособность всех жителей Экса Луи-Огюсту известна с точностью до одного сантима.

Состояние Луи-Огюста растет исправно и стремительно. Каждый день приносит ему еще крупицу золота. Потомок нищих горцев-переселенцев одержал победу. Недалек тот час, когда город Экс убедится, сколь велика эта победа: за восемьдесят тысяч франков золотом купит он Жа де Буффан – прекрасный загородный дом, выстроенный для себя г-м де Вилларом в бытность его наместником Прованса; а когда позднее, много-много позднее, Луи-Огюст восьмидесятивосьмилетним старцем умрет, наследники его получат капитал в миллион двести тысяч франков золотом.

Благосостояние его упрочено, будущее семьи обеспечено, чего еще желать этому Луи-Огюсту Сезанну? Одного, и только одного: претворив в жизнь все свои честолобивые стремления, он имеет законное право желать, чтобы его дети занимались тем, чем занимался он, чтобы они продолжили его дело, чтобы стали силой, ибо для Луи-Огюста Сезанна суще-

¹¹ Архивы Бюро записей города Экс-ан-Прованс.

¹² В нынешнем исчислении 17 00 тысяч франков. Все суммы в дальнейшем указываются в старом исчислении до реформы 1961 года. (Прим. пер.)

ствует только одна сила: та, которую дают деньги; только одна истина: деньги; только один образ жизни: зарабатывать деньги; только один смысл человеческой деятельности: бесконечное приумножение денег.

Луи-Огюст Сезанн с надеждой взирает на своего сына Поля. Придет день, когда Поль станет его преемником. Придет день, когда банк «Сезанн и Кабассоль» превратится в банк «Поль Сезанн» – собственность крупного денежного туза.

Часть первая Призвание (1839–1862)

I. Эта коробочка акварели...

Я видел на днях, как дочурка одного из моих друзей вооружилась коробкой красок. Давать в руки ребенку подобное оружие!

Эдгар Дега

На Бульваре у дома, где помещается шляпное заведение «Мартен, Купен и Сезанн», играет мальчик: сын Луи-Огюста – Поль.

Дом этот ветхий (фриз на его боковой стороне осыпается от времени) и к тому же как бы обособленный от прочих зданий Бульвара, потому что западной своей стороной он выходит на улицу Гран-Карм, а восточной – в узкий пассаж Агар, представляющий собой кратчайший путь к Бульвару и к площади перед зданием суда. Полусвет, полутень – таково царство маленького Поля. Вон там, у самого входа в пассаж, арка, в полумраке под ней дверь, толкнешь ее и поднимешься в квартиру, где хлопочет по хозяйству мама; а тут, напротив магазина, вдруг повеселевшего под лучами солнца, что пробивается сквозь листву вязов – поговаривают, их собираются срубить, – весь шумный оживленный Бульвар. Почтово-пассажирские кареты, прибывая из Авиньона, Марселя или Вара, останавливаются, конечно, на северной стороне; это сторона простонародья, она же сторона солнца – сторона жизни.

Но не здесь, не в этом доме на Бульваре родился Поль. Когда его матери пришло время родить, она ушла из квартиры Луи-Огюста, расположенной над шляпным магазином, и нашла себе временное пристанище в доме № 28 по улице де Л’Опера, которая служит продолжением Бульвара. Элизабете Обер, понятно, не хотелось давать сплетникам лишний повод судачить о ней и об отце ее будущего ребенка. Однако когда двадцать девять месяцев спустя на свет должна была появиться сестра Поля, Мария, их мать, очевидно, уже меньше беспокоилась о том, что скажут окружающие, ибо на сей раз она и не подумала скрыться.

Поль играет перед дверью магазина, заливаясь смехом, гоняется по тротуару за солнечными зайчиками, что по милости ветра то появляются, то исчезают. Какой свет, а какие краски на этом Бульваре! В базарные дни сюда наезжает множество деревенских дилижансов – желтых, красных, зеленых. Барышники в синих блузах гонят гурты овец, стада коров. На террасах кафе игроки, сидя за бутылкой палетского и посасывая белые каолиновые трубки, часами режут в карты; солнце кладет легкие мазки изумрудных бликов и лиловых теней на серые куртки и небесно-голубые блузы. Здесь налицо весь веселый, смеющийся Прованс, народный, крестьянский Прованс.

В такие дни мать Поля, высокая, стройная, совсем еще молодая женщина – этой жгучей брюнетке нет и тридцати лет, – с трудом удерживает сынишку при себе. Стоит ей на миг ослабить внимание, как он уже семенит к рынку и старается затесаться в самую гущу людей и животных, спешит надышаться воздухом эских полей, напоенных благоуханием плодов, крепким ароматом чеснока и оливок, перца, помидоров и баклажанов, к которому примешивается терпкий запах пота, распространяемый вокруг вереницами блеющих овец, пригнанных сюда с высот Треваресса. Сколько бы мать ни звала Поля, он и ухом не ведет. Приходится силой уводить его оттуда и шлепками загонять домой, а он, злой, надутый, еще и сердито огрызается.

Странный ребенок, этот четырехлетний Поль Сезанн, и далеко не всегда приятный. У него нет ничего общего с теми вечно улыбающимися карапузами, на которых матери не нарадуются. Такой же упрямый, такой же гневливый, как его отец, он всегда стремится поставить на своем, а иногда без всякого видимого повода начинает вдруг бесноваться, топтать ногами, пока не доведет себя до настоящего припадка, причем, припадок этот прекращается так же внезапно, как начинается. А между тем второго такого ласкового ребенка не сыскать. Он обожает сестренку Марию, обожает мать и обожает, да, обожает своего уже пожилого сорокапятилетнего отца, перед которым он трепещет, который отпугивает его, чей властный голос, едва в нем появляются нотки более жесткие, чем обычно, заставляет мальчика тут же сжаться и присмиреть. Да и кто же в доме на Бульваре посмел бы возразить, пусть даже мысленно, Луи-Огюсту?



Поль Сезанн. Портрет матери.

Скоро Поль покинет этот дом, где он провел столько счастливых дней. Родители мальчика собираются переехать. Почему бы им не устроиться поудобнее, ведь дела Луи-Огюста с каждым днем идут все успешнее. Банкира прельщает улица Гласьер, не беда, что она узкая,

кривая и темная, зато спокойная. По правде говоря, Полю пора бы уже уgomониться. Не за горами день, когда он пойдет в школу.

Родители его, наконец, приняли важное решение: 29 января 1844 года они оформили свой брак в мэрии, в тот день Полю исполнилось пять лет и десять дней. Да, времени пере-мыть Сезаннам косточки у сплетников было предостаточно!

Поль еще слишком мал, чтобы понять все значение этой церемонии, которая возводит его и сестру в ранг законных детей. Он продолжает резвиться. Совсем недавно он придумал себе новую игру, мать от нее в восторге, потому что это тихая игра: вооружившись угольком, он разрисовывает все стены. На днях друг Луи-Огюста г-н Перрон, увидев на стене набросок Поля, воскликнул: «Да ведь это же мост Мирабо!» Вот именно, этот мост через Дюранту и нарисовал Поль.

Г-жа Сезанн преисполнилась гордости. Она далеко не равнодушна к тому, что Поль в таком возрасте способен что-то верно воспроизвести. Потому что г-жа Сезанн, не в пример супругу, привносит в свою жизнь много причуд и игры воображения. Воплощенная женственность и непосредственность, она обладает импульсивностью великих фантазеров. Она романтична, мечтательна, несколько склонна к иллюзиям. Впрочем, ей было от кого все это унаследовать. Со стороны матери, жены резчика по дереву, она принадлежит к семье Жирардов, более чем скромных марсельских ремесленников: обладая свойством уноситься за облака, они порядком приукрасили историю своего происхождения. Один из их предков был, утверждают они, генералом наполеоновской армии и вместе с мужем Полины Бонапарт¹³ активно участвовал в боях на острове Сен-Доминго, где женился на туземке. По милости этого удалого вояки в жилах Жирардов якобы течет негритянская кровь. Чистый вымысел, но Жирарды охотно повторяют его.

Поль уже ходит в начальную школу на улице Эпино, где он на хорошем счету, как примерный и послушный ученик. Учителя довольны им. Месяцы идут чередой без каких бы то ни было происшествий. У Поля завязывается прочная дружба кое с кем из одноклассников, особенно с Филиппом Солари, сыном каменотеса. Филипп сама доброта, он услужлив и приветлив; о таком товарище можно только мечтать. С ним Поль с утра до ночи играет, с ним, невзирая на тревогу матери, бродит по старым эским улицам; Полю очень нравятся эти спокойные узкие улицы, ему по душе их мягкий сумрак, усугубленный тишиной, он любит их дремотное оцепенение.

Надо сказать, что в мечтательности Поль не уступает матери. Когда отец, чьи мысли постоянно заняты множеством сложных комбинаций, возвращается домой на улицу Гласьер и бывает грубоват с матерью, покрикивает на нее, Полю хочется только одного: чтобы о нем забыли. Скованный присутствием своего властного отца, он уединяется, замыкается в себе, исчезает. Он ищет поддержки. И как ни странно, находит ее у младшей сестры; Марию ничем не испугаешь; она не побоялась бы при случае дать отпор самому Луи-Огюсту.

И, растерявшись от неожиданности, Луи-Огюст, вероятно, рассмеялся бы. Из двух своих детей он, бесспорно, больше любит дочь, а не простофилю Поля, который теряется при малейшем препятствии. Пора бы, однако, расшевелиться этому увальню, если он хочет в один прекрасный день стать достойным преемником отца.

Теперь и Мария посещает школу на улице Эпино – это смешанная школа. Брат и сестра ходят туда вместе. На Поле, как старшем, естественно, лежит обязанность присматривать за сестренкой. Но девочка очень скоро поняла, до какой степени беспомощен ее опекун: не он ей, а она ему помогает выпутываться из всяких, даже самых незначительных затруднений. От покровительства Мария незаметно переходит к тирании. Поль в восторге, что она такая разумная, бойкая, и охотно идет у нее на поводу, но порою, когда сестренка начи-

¹³ Одна из сестер Наполеона I. (Прим. пер.)

нает чересчур помыкать им, он, выведенный из себя, осаживает ее. «Попридержи язык, малышка, – ласково прикрикивает он, – а то получишь у меня, не обрадуешься...»



Поль Сезанн. Мари Сезанн, сестра художника.

Революция 1848 года – Полю девять лет – смела Луи-Филиппа. Начало Второй республики совпало со смутным временем. Разразился кризис. Два неурожайных года – 1846 и 1847 – вызвали голод. Народ в Париже ропщет. А Луи-Огюст, тот, невзирая на водоворот событий, продолжает свое восхождение. 1 июня он открывает банк на улице Корделье, 24 (некоторое время спустя он будет переведен на улицу Булегон, 13). Для Луи-Огюста это решающий момент. В упорной погоне за деньгами он отказывает жене не только в какой бы то ни было роскоши, но даже просто в удобствах. Не для того ли, чтобы облегчить г-же Сезанн бремя хозяйственных забот, решено было поместить Поля полупансионером в школу Сен-Жозеф, расположенную близ церкви Сен-Мари-Мадлен? Вполне возможно.

Так или иначе, но в 1849 году Поль поступает в школу Сен-Жозеф. Для него начинается новая жизнь, однако он применяется к ней. Применяется ко всему. С ним всегда так: пусть будет как богу угодно. Богу и людям. Чем дальше бежит время, тем явственнее проступают черты его характера. Он ни в коей мере не борец, а если борется, то на свой лад: уступая и прячась в никому не ведомое и не доступное царство. Да и кто, по правде говоря, мог бы точно определить этот характер?

Поведение его зачастую кажется странным или по крайней мере неожиданным. Он слишком подвижен, наделен чересчур острой, почти болезненной восприимчивостью, чтобы можно было правильно понять его, одновременно такого шумного и робкого, равнодушного и страстного, нелюдимого и общительного – все в зависимости от обстоятельств, от смены настроения, различных вытесняющих друг друга впечатлений, какие он получает от живых существ и вещей. Он до такой степени поддается воздействию окружающей среды, что школьные учителя корят его за слабохарактерность. Но время от времени, пожалуй даже слишком часто, он вдруг, не помня себя от приступа необъяснимого гнева, как заупрямится, как встанет на дыбы!.. Совершенно непонятно, тем более что подобная несдержанность не мешает ему быть самым прилежным учеником. Своими успехами он обязан не столько выдающимся способностям, сколько усидчивости и умению работать систематически. Он, как говорится, звезд с неба не хватает.



Поль Сезанн. Портрет Анри Гаске.

После занятий Поль вместе с Филиппом Солари или с кем-нибудь из новых товарищей по пансиону, например с Анри Гаске, сыном булочника с улицы Ласепед, отправляется немного побродить; пошатавшись по эским улицам, носящим весьма выразительные назва-

ния: улица Рифль-Рафль, улица Эскишо-Кудэ¹⁴, что все сильнее и сильнее притягивают его к себе, постояв у фонтанов, журчащих на каждом перекрестке, Поль возвращается домой, где его ждет семья: сестра, на которую он, невзирая на ее выходки, все больше и больше опирается, взбалмошная, но любящая и ласковая баловница-мать (может ли эта мать, в одинаковой мере робкая, застенчивая и мечтательная, не узнать себя в своем сыне) и отец, суровый, прижимистый, вечно погруженный в думы о все новых и новых финансовых операциях.

Уроки рисования в школе Сен-Жозеф изредка дает один испанский монах, неизвестно какими судьбами попавший сюда. На этих занятиях Поль прилежен не более чем всегда и везде. Правда, рисование – игра, которую он придумал себе в пять лет, – по-прежнему увлекает его. Г-жа Сезанн, легко предающаяся несбыточным мечтам, даже утверждает, что когда-нибудь Поль станет великим художником. За всю свою жизнь она ни разу не была в музее, не видела ни одной картины настоящего мастера; не беда! У нее есть свои неоспоримые основания так думать: зря, что ли, ее сыночка зовут Полем, как Рембрандта и Рубенса¹⁵.

Луи-Огюст обычно пропускает мимо ушей подобный вздор, а случайно прислушавшись, пожимает плечами и придает ему не большее значение, чем караибской генеалогии Жирардов.

Он, Луи-Огюст, «делает» деньги, все больше и больше денег. Что ни подвернется, все хорошо. Не подумайте, что, став банкиром, он пренебрегает мелкими барышами. Время от времени он скупает партию лежалых товаров, какие-то подержанные вещи, сортирует их и выгодно перепродает. Однажды, разбирая хлам, он наткнулся на коробочку акварели. Сбыть эти краски можно только любителю, но поиски его не окупятся стоимостью подобной безделицы. Лучше уж отнести их домой и подарить Полю. Пускай малюет в свое удовольствие.

Сезанны выписывают «Магазэн Питтореск»¹⁶, широко распространенный в то время иллюстрированный сборник. В восторге от отцовского подарка, Поль Сезанн старательно раскрывает в этом сборнике все картинки.

¹⁴ Улица, «где не расставишь локтей»: такая она узкая.

¹⁵ Она путает: имя Рембрандта – Харменс.

¹⁶ Лет десять спустя «Магазэн Питтореск» даст пищу воображению другого мальчика, Артюра Рембо

II. Коллеж и дружба

*Ты помнишь? Шестнадцать было нам, акации цвели, луна
сребрилась, в ее голубизне таинственно мерцал собор Сен-Жан.
Поль Сезанн*

Образование сына банкира не может завершиться школой Сен-Жозеф: одно лишь учебное заведение в Эксе достойно его будущего поприща – закрытый коллеж Бурбон, где учатся сыновья всех добропорядочных семейств. В октябре 1852 года тринадцатилетний Поль поступает в шестой класс этого коллежа.

Новая перемена жизни его ничуть не огорчает. Пребывание в закрытом учебном заведении – пытка для многих мальчиков, но не для него: он спокойно мирится с тем, что за ним захлопываются двери пансиона-тюрьмы, и равнодушно облачается в форму, которая как бы говорит – конец твоей свободе, – в суконную форму, синюю, с красным кантом, украшенную по воротнику золотыми пальмовыми ветвями.

А между тем тут, в коллеже Бурбон, не так уж весело. Это громадное старое, порядком обветшалое здание бывшего монастыря, переоборудованное под коллеж, выходит своим внушительным длинным фасадом, облицованным серым камнем, на улицу Кардинал. Здесь темно. Здесь уныло. А главное, здесь сыро. В классах первого этажа со стен постоянно течет. В темной часовне – говорят, это творение Пюже, – затхлый запах плесени примешивается к вкрадчивому благовонию ладана. От грязной посуды и подгорелого сала в столовой стоит вонь и чад. Все это, конечно, мало привлекательно. Поль здесь не засиживается. Зато как хороши оба двора, осененные платанами, и большой заросший пруд. Не велика беда, что вода под зеленой ряской не слишком прозрачна. Дружелюбным взглядом провожает Поль бесшумно скользящих по коридорам монахинь, хозяек бельевой и лазарета.

Из окон более светлых классов второго этажа взор украдкой скользит по соседним садам, откуда, порою, в светлые ночи доносятся тонкие, как звуки свирели, рулады жабы, славящей луну.

Поль учится.

Он учится, как всегда, спокойно, усидчиво и старательно, без особого пристрастия к какому бы то ни было предмету. Одинаково прилежно решает задачи, зубрит историю и переводит с латинского. Пожалуй, несколько большую склонность он питает к латыни; не потому ли, что этот язык воплощает в себе прошлое – всегда столь живое и живучее в Провансе – и прошлое достоверное? Вполне возможно. Но у Поля отличные отметки и по арифметике: очевидно, сказываются способности, унаследованные от отца. Кто-кто, а этот прилежный ученик, всегда один из первых, несомненно, станет человеком, если будет продолжать в том же духе; а почему бы ему не продолжать?

Исправность, с какой Поль выполняет свои школьные обязанности, позволяет думать, что внутренние противоречия, когда-то проявлявшиеся в его поступках, сгладились. Дома отец так часто притеснял Поля, бывал с ним так груб, мальчик до такой степени привык в его присутствии не раскрывать рта, что дружба с товарищами по коллежу должна была бы способствовать разрядке нервного напряжения и расцвету всех его душевных сил. Ничего подобного. Неровность его характера вскоре снова дает себя знать. В отношениях с одноклассниками ему не хватает естественности. Его сковывает непреодолимая застенчивость. А временами он вдруг как вспыхнет, как нашумит! Стоит кому-нибудь случайно коснуться его, и он прямо-таки подпрыгивает на месте. Он действительно в постоянном паническом страхе, как бы кто не дотронулся до него. Однажды какой-то мальчишка, съезжая по перилам лестницы, по которой в это время спускался Поль, неожиданно изо всех сил двинул его

ногой. С тех пор Сезанн страдает боязнью прикосновения, с тех пор, не доверяя людям, он опасается подвоха с их стороны. Обостренная чувствительность, по-видимому. У него и в помине нет здоровой уравновешенности и веселой, насмешливой презрительности отца!

Луи-Огюст, которому богатство придало апломб, встречает грубоватыми шуточками все доходящие до него слухи о хорошо известных ему самому злобных выпадах завистливой эскской буржуазии, всячески старающейся показать, до какой степени она пренебрегает им, не признает его. Поль лишен такой счастливой свободы в обращении с людьми: постоянно подавляя его своей могучей индивидуальностью, отец в конце концов убил в нем радость и стремление к независимости.

Этот запуганный мальчик болезненно горд: малейший укол самолюбия – и он сразу съезживается, как стыдливая мимоза. Он страдает, хотя не признается себе в том, а может быть и вполне безотчетно, от своеобразного бойкота, какому подвергается его семья. В коллеже, как и за стенами его, Поль снова наталкивается на сословные перегородки. Есть тут сын г-на председателя апелляционного суда, есть сын г-на ректора и есть сын банкира Сезанна, того разбогатевшего торговца кроличьими шкурками, что наконец-то женился на своей сожительнице. И тут так же, как и дома, в присутствии отца, Поль молча замыкается в себе, бежит от горькой действительности: «Страшная штука жизнь!»

* * *

В одно время с Сезанном в коллеж Бурбон поступил еще новичок, только поступил он в восьмой класс¹⁷, то есть двумя классами ниже Поля, хотя моложе его этот мальчик всего лишь на год. Впрочем, он даже в восьмом, с трудом поспевая за классом, плетется в хвосте. Зовут его Эмилем, он единственный сын Франсуа Золя, того инженера, благодаря которому Экс вскоре перестанет в засушливые периоды страдать от недостатка воды¹⁸.

Едва Эмиль переступил порог коллежа, как все дружно объявили ему войну. И большие и маленькие, сплотившись, преследуют, изводят, ожесточенно нападают на него. За что? За многое. В двенадцать лет он всего лишь в восьмом классе; хоть он, пожалуй, и невелик ростом, а все же на целую голову выше многих своих учителей; большой да дурной, полный невежда. Обладая он по крайней мере безупречными манерами такого благовоспитанного лодыря. Куда там! Вдобавок он еще близорук, этот олух; краснеет по пустякам, конфузится, как девчонка; сразу видно, что привык держаться за маменькину юбку; недаром каждый день в приемной коллежа его дожидаются две женщины – видимо, мать и бабушка: приходят полюбоваться на своего ангелочка. Кроме того – и это уже действительно «серьезное обвинение», – Эмиль не уроженец Экса; он чужак, «франк», Парижанин, и говорит на каком-то чудном языке – что за уморительный акцент! Ко всему у него еще дефект речи, он произносит «колбата» вместе «колбаса». И наконец, верх преступления, он беден. Живет в каком-то невообразимом доме, где-то у черта на куличках, у самого Пон-де-Беро, в диковинном поселке, среди цыган, ветошников и всякой голи перекатной. Впрочем, нет. Семья Эмиля там больше не живет. С тех пор как он поступил в коллеж, Золя снова переехали, теперь уже на улицу Бельгард, что не только не лучше, но даже хуже. Кто же не знает, почему не сидится на месте этим Золя: каждый раз, как они меняют квартиру, у них становится одной комнатой меньше, следовательно, и платят они меньше; коли так пойдет и дальше, они в конце концов переберутся в подвал. Нужда действительно свила себе у них прочное гнездо; последние пять лет, то есть со дня смерти инженера Золя, кредиторы обрывают им звонки. Эмиль – Парижанин, краснеющий балбес, к тому же еще и сирота – единственная

¹⁷ Во французских школах принят обратный счет классам. (Прим. пер.)

¹⁸ Эмиль Золя родился в Париже 2 апреля 1840 года.

вина, которую ему, так и быть, прощают. Над ним по крайней мере можно всласть покуражиться, ведь он беззащитен: две втянутые в запутанную тяжбу женщины, что приходят к Эмилю, вряд ли могут ему чем-нибудь помочь.



Эмиль Золя. Фотография.

Золя попытался было дать отпор своим многочисленным преследователям. Но где ему справиться со сворой осатанелых мальчишек? До этого времени он жил баловнем семьи, рос дичком, шатался, отлынивая от уроков, по улицам или вдоль Тирсы, речушки, вьющейся по Пон-де-Беро; этот добрый, тихий, мечтательный мальчик, нежный и великодушный, любит животных, растения, все живое. И надо же было упрятать его в этот мрачный коллеж! С горестным изумлением смотрит он на сорванцов, которые ожесточенно бросаются на него. Он отступает под ударами, думая только, как бы скрыться и, забившись в уголок, выплакать свое горе. Счастье, если все кончается тем, что, загнав его в самый конец второго двора, запрещают кому бы то ни было подходить к нему, к этому «прокаженному».

Не считает Эмиля таковым один-единственный человек в коллеже. А именно Поль. Хотя они учатся в разных классах, он старается время от времени перемолвиться с ним словечком. Этот Эмиль, «задумчивый страдалец», славный мальчик, «свой парень» – вот его, Поля, личное мнение. И это мнение – кто бы мог ждать от такого трусишки? – он подтвердил делом. Однажды, когда Эмиля вновь подвергли остракизму, Поль, в порыве рождающейся симпатии нарушил запрет и, подойдя к «отверженному», стал утешать его. Все сразу же обрушились на Поля и давай его тузить; удары посыпались градом. И все же произошел раскол, отныне коллежу не идти больше стеной на одного.

На следующий день Эмиль Золя, растроганный до слез, приносит Полю Сезанну в знак благодарности большую корзину яблок. Дар признательности, дар, скрепляющий дружбу¹⁹.

* * *

Сезанн и Золя, сами того не ведая, открывают новую страницу жизни.

Благодаря Сезанну, своему неизменному заступнику, Золя уже не чувствует себя одиноким в этом ненавистном коллеже, который сразу перестает быть для него каторгой. Дружба Сезанна согревает Золя; она мирит дичка с положением пансионера. Больше того, школьные успехи друга возбуждают в нем желание учиться. Он нагоняет упущенное время и вскоре уже блистает в рядах первых учеников. В нем пробуждается честолюбие. Эмиль пишет. Он, который в семь с половиной лет не знал грамоты, начинает строчить исторический роман – плагиат «Истории Крестовых походов» Мишо. Привязанный к Сезанну узами нежной преданности, он в общении с другом вновь обретает свою восторженную откровенность.

И его пылкие чувства передаются Сезанну.

Доверчивая любовь Золя открывает перед Сезанном вселенную. Наконец-то Поль может выйти за тесные границы домашнего мирка. Вчера еще он прибегал за помощью к матери, находил опору у сестры. Сегодня Золя дарит ему нечто большее, чем опору, большее, чем прибежище: он увлекает его за собой в волшебное царство.

На переменах друзья не перестают болтать. Впечатления от книг – они ведь теперь читают запоем все, что ни попадется под руку, «детские сказки, объемистые приключенческие романы», которыми они потом неделями бредят, – переплетаются с личными воспоминаниями. Золя жил в Париже. Волнуясь, еле сдерживая слезы, вспоминает он отца, чья пестрая жизнь, с начала до конца похожая на роман, способна была воспламенить юное воображение.

До того как Франсуа Золя поселился в Провансе, где в пятьдесят два года умер, этот сын венецианки и грека с острова Корфу объехал всю Европу и даже побывал в Африке. Он учился в офицерской школе сперва в Павии, а затем в Модане, служил лейтенантом артиллерии в армии принца Евгения. Землемер, одно время занимавшийся составлением кадастра в Верхней Австрии, он в 1823 году работал на строительстве одной из первых в Европе железных дорог между Линцем и Бидвейсом. В 1830 году он принимал участие в борьбе с эпидемией холеры в Алжире, а через год он в том же городе вступил лейтенантом в Иностранный легион.

Вернувшись через какое-то время во Францию, он в Марселе представил план нового порта²⁰, в Париже изобрел транспортировочную машину и в течение ряда лет яростно ратовал за проведение в жизнь своего проекта плотины и канала в Эксе, где с этой целью ему удалось учредить общество с капиталом в шестьсот тысяч франков. И женился он также молниеносно на девятнадцатилетней девушке, которую в одно прекрасное воскресенье заметил при выходе из церкви. Пылкий, безудержно страстный, склонный к смелым дерзаниям, Франсуа Золя был человеком 1830 года: истым романтиком. Сезанн слушает. В сравнении с этой яркой волшебной сказкой история жизни его отца, чей мерный и неуклонный подъем выражается лишь в цифрах, в каких-то отвлеченных знаках, кажется ему вдруг бесцветной, заурядной. До сей поры романтизм едва коснулся Экса, едва пробудил в этом погруженном в летаргию городе отзвук слабый, слабый, как шепот умирающей волны. И вот

¹⁹ «Да, сезанновские яблоки не сегодня созрели!» – скажет, подмигнув, художник, вспоминая впоследствии это происшествие.

²⁰ Расположенного в Каталанской бухточке.

он, этот романтизм, внезапно возник перед Сезанном тут, на школьном дворе, во всей своей красочности, во всех своих крайностях и притягательной жизненной силе.

Впрочем, для Золя романтика – повседневность; приключения тут, за углом. Дни Золя не похожи на дни Сезанна, исполненные безмятежной неподвижности, почти оцепенения. Золя, не в пример Сезанну, не застрахован от превратностей жизни отцовским богатством. Инженер Золя умер, когда сыну его было семь лет. На всю жизнь запомнил Эмиль те страшные минуты. Не прошло еще и трех месяцев с начала работ по сооружению канала, как Франсуа Золя понадобилось съездить на двое суток в Марсель, где он заболел плевритом. На всю жизнь запомнил Эмиль номер в марсельской гостинице на улице Арбр, где отец его тщетно силился выиграть последнее сражение; на всю жизнь запомнил Эмиль это посиневшее лицо с запавшими ноздрями, эту маску смерти. Смерть – от одного этого слова его вновь, как пять лет назад, охватывает тяжелое, гнетущее чувство, и он вновь цепенеет от ужаса.

Начиная с того рокового часа его мать, бабушка и дедушка, втянутые в нескончаемые судебные процессы, преследуемые полчищем «шакалов»²¹, борются с одолевающей их нуждой. Но это банкротство тоже жизнь; но этот крах – логическое следствие приключений отца. В свободные от занятий дни Золя ведет Сезанна в места своих прежних прогулок. Бывает, что над самой головой у друзей со свистом пролетают камни – так ребята предметий встречают городских ребят. И хотя в те времена Сезанн и Золя не придавали никакого значения подобным происшествиям, однако они и через тридцать лет все еще вспоминают этот любезный прием.

Скоро наступят каникулы, и они отправятся бродить по окрестностям, обещает Золя. Начнутся новые открытия; с Золя открытия нет ни конца ни края.

Немного времени спустя к Сезанну и Золя присоединяется третий товарищ, Батистен Байль. Он в шестом классе, как и Сезанн, хотя на два года младше его и на год младше Золя. Отличный парень этот Байль, уравновешенный, рассудительный. Ему не знакомы внезапные приливы чувствительности, вечно обуревающие обоих его приятелей; и натура у него не столь сложная: в отличие от Сезанна в нем вялость не сменяется возбуждением, в отличие от Золя в нем пыл не охлаждается скрытым беспокойством²². Но не все ли равно? Подстрекаемый примером, Байль хоть и несколько принужденно, однако вполне искренне вторит Сезанну и Золя; он разделяет их восторги, упивается теми же книгами и теми же мечтами. Три товарища – в коллеже их не замедлили прозвать «неразлучными» – клянутся друг другу в вечной дружбе. Она сплотит их на жизненном поприще, как сплотила в коллеже. Втроем они завоюют будущее, получают признание современников. Золя, именно бедняк Золя, куда больше, чем богач Сезанн, уверен в их грядущей победе.

Трое неразлучных участвуют во всех неисчислимых проделках, какими ученики коллежа пытаются разнообразить монотонную жизнь интерната; не отставая от товарищей, подтрунивают они над Носатым – длинноносым инспектором, над Радамантом – учителем, который никогда не улыбается, над учителем физики, «легендарным рогоносцем», прозванным «Ты-мне-изменила-Адель», над классным наставником, корсиканцем Спонтини, который показывает желающим свою вендетту – кинжал, заржавевший от крови трех убитых им двоюродных братьев, и над двумя уродцами – кухонными заправками – поваренком Параболоидом и судомойкой Параллелью.

И все же, несмотря ни на что, в отношениях неразлучных с однокашниками остается прежняя отчужденность. Их сверстники плывут себе изо дня в день по течению; и мечтать

²¹ Цитируемые в этой главе отдельные слова и обрывки фраз почти все принадлежат Золя.

²² Это беспокойство, во многом сходное с сезанновской боязнью прикосновения, несомненно, результат пережитого у гроба отца, но, возможно, и следствие того забытого самим Золя обстоятельства, память о котором, вероятно, осела где-то в самых сокровенных тайниках его души: в 1845 году родители его вынуждены были выставить из своего дома слугу – двенадцатилетнего арабонка, покушавшегося на целомудрие пятилетнего Эмиля.

они не способны, не то что Сезанн, Золя и Байль – эти поэты! Своими запросами, своей упоенностью они так отличаются от всех, что даже несколько изумляют товарищей.

Надо сказать, что дружба не только не отвлекает неразлучных от занятий, а наоборот: они теперь еще лучше учатся, потому что бешено соревнуются между собой.

10 августа, день выдачи наград, становится для них днем триумфа. Особенно для Золя: он берет награду за наградой; ему даже посчастливилось получить похвальный лист; с осени этот «неуч», в начале года казавшийся безнадежным, минуя один класс, пойдет прямо в шестой²³.

Летнее солнце затопляет Экскую долину. Неразлучные пристрастились к воде. Плавать они научились в мутном бассейне коллежа и теперь, пользуясь каникулами, спешат поскорее выбраться на южную окраину города, где в ложине, среди лугов петляет небольшая речка Арка. Они проводят там нагишом долгие-долгие часы, барахтаются в воде, преследуют лягушек и в поисках угрей, мастеров прятаться в укромных местах, ныряют на дно ям – «обманок», как зовут их в том краю; едва обсохнув на горячем песке, они тут же снова ныряют или же отдыхают у самой воды, подложив под голову пласт дерна. Этот поток воды и света чарует их; они наслаждаются им, ликуя, как язычники.

Порою, оставив берега Арки, они идут знакомиться с более отдаленными окрестностями. Золя всегда любил экскую природу, нагромождение ее вздыбленных холмов, ее сосны, шум которых перекликается с пронзительным стрекотанием цикад, ее оливы и кипарисы, придающие пейзажу оттенок мечтательности. Именно он, «франк», чужак, прививает друзьям любовь к этой раскаленной невозмутимо спокойной земле, к этому краю наползающих друг на друга хребтов, где вершины гор бросают в небо окаменелый вопль своих громад, вопль, который, постепенно слабея, замирает в задумчивой неизмеримой беспредельности.

Волшебные каникулы! После них холодной кажется вдруг Сезанну квартира в доме № 14 по улице Матерой – в двух шагах от банка, – куда, стремясь к большому комфорту, переехали его родители. 1 сентября Луи-Огюст возобновляет договор, связывающий его с Кабассолем. Оба компаньона, все такие же предприимчивые, как и в первый день их совместной работы, – черствость их, возведенная в принцип, время от времени несколько умеряется тщательно продуманным благородным жестом – отлично спелись. Дела их принимают все более и более широкий размах. Убытки – они их не знали и не знают. Да и кто мог бы обвести вокруг пальца таких дельцов? Поистине еще не родился на свет подобный плут. В Эксе рассказывают о следующем анекдотичном случае: один марселец, которому компаньоны дали крупную ссуду, вследствие своей расточительности однажды оказался на грани банкротства. Неужели наши ловкачи проморгают свои денежки? Как бы не так! Не теряя ни минуты, Луи-Огюст мчится в Марсель, по-хозяйски располагается в доме своего должника, берет в руки бразды правления и до минимума сокращает расходы. Вряд ли такое домашнее диктаторство было приятно злополучному заемщику; но он не остался внакладе, по крайней мере получил возможность поправить подорванные дела и вернуть долг банку «Сезанн и Кабассоль», с процентами разумеется.

Поль Сезанн, чья душа еще ослеплена солнцем и игрой света на гребнях скал и в водоворотях реки, Поль Сезанн, первый ученик по арифметике, слушает и не слышит, как Луи-Огюст сыплет цифрами и словами: ссуда, контракт, дисконт – деньги.

С самого начала учебного года Сезанн и Байль сразу же выходят на первое место среди учеников пятого класса; Золя, принимая во внимание, что он миновал класс, тоже делает значительные успехи. Но, невзлюбив учителя словесности, об с прохладцей относится к древним языкам, предпочитая им естественные науки. Во всем остальном неразлучные все-

²³ Сезанн тоже получил первую награду за перевод с латинского, вторую – за историю и географию и, что должно радовать его отца, первую – за арифметику.

гда на первом месте, даже в законе божьем, в чем Золя, настоящий фанатик, берет верх над Сезанном, чья душа полна чистосердечной, несколько простодушной веры (первое причастие, принятое им еще в школе Сен-Жозеф, навсегда останется для него одним из самых сильных впечатлений детства). Ах да, есть один предмет, по которому Сезанн получает лишь посредственные баллы: в пятом классе учат рисовать карандашом и красками, но Поля, когда-то с удовольствием размалевывавшего «Магазин Питтореск», это сейчас не слишком увлекает. За что отец, надо думать, не взыщет с него.

Сезанн ничуть не меняется. Возраст (ему вот-вот исполнится пятнадцать лет) не внес поправок в его неровный характер. На него по-прежнему находит упрямство, минуты упадка, когда он полусерьезно, полушутливо восклицает: «Беспросветно мое будущее!» Его тяжелый характер не раз, и всегда по поводам, не стоящим выеденного яйца, ставит под удар дружбу неразлучных; ей бы и пришел конец, если бы не изворотливость дипломата Золя, который не может жить без этой дружбы; она необходима ему, как воздух, и он служит ей, словно божеству – целиком и полностью.

При всей общности склонностей трое неразлучных, однако, сильно разнятся друг от друга. Это хорошо видно по их подходу к занятиям. Байль – типичный зубрила, за него можно не волноваться: такие всегда успешно сдают все экзамены. Сезанн не менее Байля прилежен, но несобран; зато более глубок. Он налегает на все предметы с усердием «почти болезненным»²⁴, а когда овладевает ими, они при его исключительной памяти навсегда запечатляются у него в мозгу. Золя же, очень точный и аккуратный в отношении своих школьных обязанностей, тем не менее уделяет им ровно столько времени, сколько положено. Для него задание есть задание: только выполнив его, можно со спокойной совестью заняться чем-то другим, иначе он не чувствует себя свободным.

В марте 1854 года покой Экса нарушают отголоски одного отдаленного события. Прошло уже два с небольшим года, как в ночь с 1 на 2 декабря 1851 года Луи-Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот; сейчас он начал Крымскую кампанию. Французские войска, отправляемые морем на восток, проходят через Экс; каждый день в течение многих недель сюда прибывают все новые и новые полки. Ну и сутолока! Небывалая для такого небольшого города! Он, по правде говоря, весьма негостеприимно встречает всех этих вояк. Солдат, который, «сидя на тротуаре с ордером на право постоя в руке, плачет от усталости и досады», – здесь зрелище частое. Только вмешательство властей может сломить упорство аристократов, коммерсантов, мелких рантье, не желающих предоставить кров военным. Зато школьники устраивают им овации. Мальчишкам не сидится на месте. Классы бурлят. Ребятам ничто на ум не идет в эти дни, когда по городским улицам, неожиданно ставшим праздничными, под торжественные звуки фанфар во всей красе сверкающих мундиров колонна за колонной дефилируют кирасиры, уланы, драгуны, гусары. Приходящие ученики встают в четыре часа утра, чтобы, забросив ранцы за спину, пройти в ногу с полками несколько километров по дороге в Марсель. В пылу увлечения они иногда опаздывают к началу занятий и тогда и вовсе не идут в коллеж. Школьники окончательно отбились от рук. Самое время отпустить их на каникулы.

Байль получил первую награду, Сезанн – вторую²⁵. На второе место в своем классе вышел Золя; ему к тому же дали стипендию. Стипендия эта до какой-то степени поможет его матери свести концы с концами (с улицы Бельгард Золя переехали на улицу Ру-Альферон), а ему позволит отдалиться летним развлечениям с радостью, если не с безграничной, то хотя бы более самозабвенной.

²⁴ Иоахим Гаске.

²⁵ У Сезанна первая награда за перевод с латинского, вторая – за перевод с греческого; почетный отзыв за историю и арифметику, а также похвальный лист за живопись (по рисованию он не аттестован).



Франц Ксавье Винтерхальтер. Портрет Луи Наполеона Бонапарта (Наполеона III).

Сезанн унес домой свои награды – маленькие томики в синих полотняных переплетах. Несколько недель тому назад, точнее 30 июня, у него родилась сестренка Роза. Она плачет и кричит на весь дом. Но Сезанн не засиживается на улице Матерон. Неразлучные постоянно где-то носятся. Купание в Арке они чередуют с прогулками по окрестностям. Так как в этом году закончилось строительство плотины, запроектированной отцом Эмиля, то посещение ее, естественно, стало излюбленной целью их походов. А для Золя еще и своеобразным паломничеством.

Вот почему неразлучные чаще всего отправляются на запад, по пыльной дороге, ведущей в Толоне. Несколько домов, в большинстве своем жалкие строения, сложенные из камня, лишь кое-где скрепленного каплей известкового раствора, да церковь, «похожая на заброшенную овчарню», – вот и весь Толоне; но яркие лучи солнца золотят эти лачуги, а могучие, почтенные платаны придают селению какую-то удивительную величавость. Кругом, куда ни кинешь взгляд, краснозем; земля эта, гласит легенда, уже два тысячелетия не перестает сочиться кровью ста тысяч варваров, которые, спустившись с берегов Балтики, нашли здесь смерть в столкновении с легионерами. К северу от селения, в дикой каменистой пустыне – край выжженных холмов, ломаных рельефов, колючих кустарников, душистых трав, которые под лучами томительно-знойного солнца источают одуряющий аромат, – разверзаются

те Инфернетские ущелья, где и сооружена толонетская плотина. И по всему необъятному пространству бегут козьи тропы.

Часто неразлучные по лесистому склону взбираются на вершину холма, где от жары потрескивают сосны, где стрекочут сотни цикад, где на самом краю дороги высится какое-то незаконченное строение, причудливое, с готическими окнами, – Черный замок, или Чертов замок, зовут его в народе; говорят, один любитель химии некогда производил здесь всякие подозрительные опыты. Оттуда неразлучные поднимаются к возвышающейся над плотиной каменоломне Бибемю.

На протяжении сотен лет карьер Бибемю снабжает камнем Экс: все его бесчисленные дома сложены из этого красивого желтого, как бы одушевленного, камня. Вся скала в глубоких пещерах, в расселины между глыбами горных пород незаметно прокрались деревья. Своеобразие рельефа, игра светотени, изменчивое отражение листвы на горячих камнях, отражение, которое то дробится, то сливается в один тончайший отсвет, подчас превращают каменоломню в мощное творение неведомого зодчего. Здесь строго скомпонованные и абсолютно точно пригнанные друг к другу плоскости заново перекраиваются, перекрещиваются, напластовываются, образуя единое, величественное, полное лиризма целое. С этих высот взору неразлучных открывается необъятная панорама – виноградники среди красного зема, луга по обоим берегам Арки, Инфернетские ущелья, где гребень плотины врезается в гладь неподвижного маленького моря, раскинувшегося на полутора гектарах; а вдали клубятся холмы, и встают иссиня-серые цепи Сент-Бом и Этуаль; здесь же, совсем рядом, в прозрачном воздухе всплывает голубоватый, словно светящийся изнутри конус Сент-Виктуар и торжественно высится известковые кручи обрывистого берега; у подножия его, точно полчища варваров, набегая, разбиваются волны прибоя.

Есть ли еще где-нибудь на свете места, которые могли бы, подобно этой огромной пустыне, дать неразлучным столько восхитительных впечатлений. Из дня в день возвращаются они сюда и никогда не устают карабкаться по козьим тропам, где из-под ног вырываются камни, никогда не устают молча слушать беззвучную песнь этой земли. Город для них внезапно теряет свой блеск, пошлыми кажутся им дела тех, кто населяет его. Здесь в уединении они чувствуют себя оторванными от мира отшельниками. Им бы хотелось... а чего, собственно? Они и сами не знают. От смутных грез и неосознанных желаний их лихорадит. Они упиваются поэзией, громко наперебой декламируют, и звонкие рифмы, подхваченные эхом, разносятся по окрестностям. Вернувшись в Экс, они избегают встреч, сторонятся товарищей, которые, корча из себя взрослых мужчин, фланируют по Бульвару и, поравнявшись с девочками, разражаются деланным смехом.

Все это противно неразлучным. Им бы только гулять на вольном воздухе, взбираться на горы, весело плескаться в реке. В иные дни, собравшись у Байля, они, крадучись, поднимаются на четвертый этаж и запираются в мансарде; это просторное, освещенное широким окном помещение набито разным хламом, какой можно найти на любом чердаке: продавленные стулья, кипы старых газет, колченогая мебель, смятые, растоптанные гравюры. Но мальчишки превратили этот чулан в никому не ведомое царство. Не переставая отщипывать виноградинки от подвешенных к потолку гроздей, они часами читают, пытаются сочинять стихи или же перегоняют в ретортах какие-то диковинные химические соединения. Для счастья неразлучным не нужно ничего, кроме воображения. Вечерами они бродят по тихим, глухим закоулкам, где меж камнями мостовой пробивается трава. Керосиновые фонари заливают мягким светом фасады старых домов. Все безмолвствует. Где-то журчит фонтан – единственный звук, оживляющий мертвую тишину ночи. Все безмолвствует, но все говорит их сердцу. Таинственно мерцает весь голубой в лунном свете готический портал собора Сен-Шан. Как богата жизнь, вот эта жизнь, такая простая, такая полная!

* * *

Сезанну шестнадцать лет, Золя пятнадцать, Байлю четырнадцать. Для неразлучных наступил или вот-вот наступит переходный возраст. Они мужают, в связи с чем в них происходят большие душевные сдвиги, однако внешне все у них, казалось бы, идет без изменений. Размеренно течет школьная жизнь, учение чередуется с каникулами. Лишь чувства свои неразлучные порою изливают более бурно.

Бурно – это, пожалуй, мягко сказано!

Нет, каково? Сезанн и Золя недавно объединились со своим одноклассником Маргери и сообща организовали оркестр. Маргери, довольно бесцветный и до глупости самовлюбленный паренек, подкупает неразлучных обескураживающей наивностью. Что ж! Зато Маргери тоже кропает вирши. А может быть, оркестр лишь предлог поднять еще больший содом?

Будь это не так, Сезанна вряд ли соблазнила бы перспектива играть в оркестре, где он исполняет партию второго корнета-пистона, Маргери – первого корнета, а Золя – кларнета. И отнюдь не потому, что Сезанн не любит музыки, просто у него нет тяги к исполнительской деятельности. По настоянию родителей, для которых музыка своего рода общественная повинность (Марию обучают игре на пианино), он берет уроки у Понсе, хормейстера и органиста собора Сен-Совер: во время занятий его не столько хвалят, сколько бьют по рукам. Но оркестр – все же удачная затея, тем более что благодаря ему трое единомышленников пользуются своеобразной льготой: «на всех торжествах» они первые. Возвращается ли в Экс чиновник, награжденный в Париже орденом Почетного легиона, им поручается встретить его торжественным тушем. Пронесут ли по городу статуи «святых, ниспосылающих дождь, или мадонн, исцеляющих от холеры», опять-таки их призывают поддержать всенародное молебствие несколькими весьма прочувствованными нотами. Два-три пирожных каждому – и они вознаграждены за труд. Но уместно ли здесь говорить о труде? Ведь они так рады случаю потрубить во всю силу легких.

Праздник тела господня сулит им бесценные удовольствия. Целую неделю напролет весь город ликует. Целую неделю напролет по мощеным улицам между тротуаров, заставленных рядами стульев, нескончаемой цепью тянется процессия за процессией. Со всех окон свешиваются разноцветные ткани. Целую неделю, замыкая шествие – алтарь под красным бархатным балдахином, вереницы монахов и монашек, кортеж девушек в белом, колонна кающихся в синих саржевых рясах с остроконечными капюшонами, наглухо закрывающими лицо и лишь с двумя прорезями для глаз, – Сезанн, Золя и Маргери наперебой дуют в трубы, топчут цветы дрока и лепестки роз, которыми дети, бегущие впереди процессии, усыпают ее путь.

Однако участие в этих шумных празднествах вряд ли может удовлетворить Сезанна и Золя. В них играет кровь. Они охвачены возбуждением. Но Сезанн и Золя не из тех, кто осмеливается заговаривать на Бульваре с девицами. Нет, они ни за что не пойдут по такому пути. А могли бы они, если б захотели? Неразлучным стыдно признаться, что их парализуют робость и застенчивость. Они шумят, чтобы забыться, кричат, чтобы не прислушиваться к себе. Время от времени друзья, для пущей солидности очевидно, отправляются ночью исполнять на корнет-а-пистоне и кларнете серенаду в честь одной хорошенькой девушки и под этим предлогом подымают под ее окнами адский шум. У красавицы есть попугай; обезумев от этой какофонии, он надрывно, пронзительно вопит; весь квартал в смятении – вой, визг, проклятия. И смех Сезанна и Золя. Однако смеяться не значит ли подчас бежать от самого себя?

Бежать от самого себя, но почему же? Сезанн и Золя по-прежнему прекрасно учатся. При первой возможности уходят далеко за город. Они охотники до всяких шумных затей,

запоем читают, запоем пишут стихи. Короче говоря, с виду они веселы и беспечны. И все же в иные минуты радость эту заглушает гнетущая тоска; беспечность нередко сменяется внезапным наплывом грусти. Им как-то не по себе. Безотчетная тревога обуревают их. «Страшная штука жизнь!» – твердит Сезанн.

С презрительной жалостью смотрят Сезанн и Золя, как товарищи их заходят в кафе и, «обтирая рукавами школьной формы мраморные доски столиков», играют в карты на угощение. Друзья негодуют, запальчиво выражают свое неодобрение, в великолепном порыве гордости заявляют, что никогда не погрязнут в трясине житейской обыденности. Упоенные дружбой и мечтами о будущем – они предаются им вместе с Байлем, – неразлучные в пылу увлечения шепчут красоте, славе и поэзии магические слова: «Сезам, откройся». Заучивая наизусть целые действия из «Эрнани» и «Рюи Блаза», они в летние дни на берегу реки читают их, подавая друг другу реплики. Эти «роскошные видения», этот «разгул» фантазии повергают их в дрожь, в исступленный восторг. Близится вечер, пора уходить. Безмолвно, словно замороженные, смотрят они, как за руинами садится солнце; и жизнь видится им в ослепительном и неверном свете огней феерического апофеоза.

* * *

13 августа 1856 года, в день раздачи наград – на сей раз он проходит с особой помпой ввиду присутствия епископов Экса и Дижона, – для Сезанна и Золя кончается их интернатская жизнь. Отныне они будут приходящими учениками коллежа. Байль, тот – увы! – еще останется пансионером. Сезанн (так же как и Байль) закончил третий класс, Золя – четвертый. Они увенчаны лаврами, Поль и Эмиль получили похвальные листы. Сезанн, с головокружительной быстротой сочиняющий как латинские, так и французские стихи (этот ловкач за два су кому угодно мигом накатает сотню латинских стихов), в древних языках заткнул обоих друзей за пояс. Зато в рисовании Сезанн потерпел фиаско; в то время как Байль получает первую награду, а Золя – вторую, ему не перепадает даже самого завалящего похвального листа.

Сезанн и Золя бесконечно счастливы: кончилось их заточение в четырех стенах. Отныне и в каникулы и в учебное время они целиком принадлежат себе. Летом каждый день, а в школьные месяцы каждое воскресенье они, забыв обо всем, кроме своей беспредельной мечты, уходят из города, витая мыслью в пурпурно-золотых облаках. Уходя все дальше и дальше в своих странствиях, они по крутым склонам взбираются на гору Сент-Виктуар и, побродив по краю сдвоенной воронки бездонного карстового провала, спускаются на Рокфавурскую дорогу и шагают по ней сперва до Галисского замка: его парк – суший рай, «paradou» утопает в цветах, потом дальше по направлению к Гарданне – живописному местечку, где дома громоздятся по ступенчатому склону пригорка, увенчанного старой колокольней; оттуда – до Пилон дю Руа, этого доломитового столба, который горная цепь Этуаль извергла из глубины своих недр, затем, продолжая путь все дальше и дальше на юг, доходят, наконец, до самого Эстака, до тех диких, обрывистых, развороченных, подточенных прибоем и ветрами берегов, до тех красных утесов, где сосны, цепляясь корнями за камни и уходя вершинами в пустоту, кажется, висят в воздухе между лазурно-голубым небом и кобальтово-синим морем, а на остриях их игл яркий свет высекает ядовито-зеленые искры.



Поль Сезанн. Гора Сент-Виктуар.

В четыре часа утра (кто встает первый, будит другого, бросив два-три камешка в закрытое ставнями окно) друзья пускаются в путь-дорогу, с каждым разом стремясь уйти подальше и принуждая себя ходить подольше, наслаждаются этими все более и более длительными прогулками, доводящими их до такого изнеможения, что, когда вечером они входят в Экс, сияя тупой, блаженной улыбкой усталости, ноги отказываются им служить, и только «сила, которой они набрались», да какая-нибудь поэма Гюго подстегивают их слабеющую энергию и заставляют шагать в такт стихам, «звонким, как звуки трубы».

Летом к ним, конечно, присоединяется Байль. Но он теперь «отяжелел и обмяк, как всякий прилежный зубрила»; он даже слегка задыхается, изо всех сил стараясь не отставать от старших товарищей. Иногда неразлучные берут с собой еще кого-нибудь, например Филиппа Солари, Мариуса Ру – Золя познакомился с ним давно, еще до поступления в колледж (они учились вместе в небольшом пансионе Нотр-Дам) – или же Изидора, младшего брата Байля, мальчишку лет десяти, которому они оказывают величайшую честь, доверяя ему заплечный мешок. Однако неразлучные предпочитают быть втроем. Своей дружбой они навсегда отгораживаются от всех. Для них горные вылазки не только физическая разрядка, но и в полном смысле слова бегство от людей, широкое символическое отрицание города и цивилизации – ах, как романтична эта поза а-ля Жан-Жак! Им случается читать «стихи под проливным дождем», потому что «из ненависти к городу они не желают укрыться в нем». Среди множества планов, которые они строят, один особенно прельщает их: «взяв с собой не более пяти-шести книг, поселиться на берегу Арки и, по целым дням не вылезая из воды, жить в свое удовольствие, как живут дикари».

Как-то вечером с наступлением темноты неразлучные даже решили заночевать в пещере. Они приготовили себе ложе из травы, смешанной с тимьяном и лавандой. Не успели они улечься, как на беду поднялся сильный ветер. Он выл и свистел в расселинах скал, про-

никал в пещеру и гудел словно кузнечный горн. В матовом свете луны над головами неразлучных кружили испуганные летучие мыши. До сна ли тут? Приятели уже пожалели, что они не дома. Около двух часов пополуночи друзья, не выдержав испытания, бросили свой романтический приют; однако, прежде чем спуститься в город, они не отказали себе в удовольствии устроить иллюминацию и подожгли свое легковоспламеняющееся травянистое ложе; столб душистого пламени, потрескивая, взвился в сумрак ночи, а вокруг «с мяуканьем шекспировских ведьм»²⁶ вихрем носились летучие мыши.

Теперь и осенью у неразлучных есть предлог для странствий – охота. Край этот отнюдь не изобилует дичью: ни зайцев, ни куропаток; иногда, крайне редко – кролик; охотники наши отыгрываются на дроздах, жаворонках и зябликах. Да и что общего, по правде говоря, у неразлучных с охотниками – ружья и ягдташи? За день приятели проходят десятки лье, ни разу не выстрелив. Золя – «друг животных», а Сезанну душа не позволяет пустить в ход прекрасный самострел, подарок отца, и против кого? – против малых птах. Чаще всего неразлучные всаживают пулю за пулей в столб: просто так, ради удовольствия пострелять. Поэтому, едва завидев «родник, четыре ивы, бросающие серые пятна тени на ослепительно яркую землю», они оставляют в покое птиц и заводят речь о любви.

Любовь? О поэты! Ведь они, эти мальчики – одному восемнадцать, второму семнадцать, третьему шестнадцать, – даже женщину изгнали из своего идеального города. Женщина, да они боятся ее. Но выдают парализующую их робость за «пуританство чудо-мальчиков», а сами фантазируют, лелеют мечту о «мимолетных встречах с незнакомками где-нибудь в пути, о девушках редкой красоты, которые внезапно предстали бы перед ними в неведомом лесу и, самозабвенно отдавшись им, с наступлением сумерек растаяли, как тени». Пусть в ягдташе нет дичи, зато головы полны грез; к тому же ягдташ набит книгами, и они населяют роскошными видениями отшельничество трех неразлучных.

Как-то раз один из них извлек на свет затесавшийся между пороховницами и коробками пистонов томик неизвестного им поэта, чье имя – Альфред де Мюссе – учителя обошли молчанием. И сразу же блеск Гюго померк для неразлучных. Они больше не расстаются с Мюссе. Читают и перечитывают его стихи. Насмешливый романтизм Мюссе, «его дерзость гениального мальчишки», его скептицизм, его вызов кажутся им сродни, а его стенания и подавно. Поэзия Мюссе становится их «религией». И мог ли не растрогать неразлучных Мюссе, чей скорбный крик «выразил отчаяние века»? Голосом, дрожащим от волнения и слез, они неустанно повторяют горькие строфы, те «ширококрылые строфы, что с шумом уносятся вдаль».

²⁶ Поль Алексис, Эмиль Золя, записки друга.



Шарль Ландель. Портрет Альфреда де Мюссе.

Волшебный мир поэзии! Неразлучные наперебой сочиняют стихи. Золя задумал даже написать большую поэму в трех песнях «Цепь поколений» – всеобъемлющую историю человечества, которая охватила бы сразу его прошлое, настоящее и будущее. Он, Золя, станет поэтом. И Сезанн тоже. И Байль тоже. Все трое станут поэтами. Чуждые мелочных стремлений, они будут жить в стороне от всех, вдали от людской злобы и глупости. Будут писать, познают славу и любовь. В один прекрасный день они нагрянут в Париж и завоюют его. В один прекрасный день к ним придет чистая, нетронутая любовь и утолит их жажду идеала. Книжки закрыты. Золя лежит в траве на берегу реки и, устремив блуждающий взор в небо, изливает душу. Женщина, да, но он хотел бы, чтобы она была «как полевой цветок, что весь в росе распускается на ветру», чтобы тело и душа ее были подобны «водяной лилии, омываемой вечным потоком»; он клянется «полюбить лишь девственницу, целомудренное дитя, чья душа белее снега, прозрачней ключевой воды, а по чистоте своей глубже и беспредельнее неба и моря».

Молча слушают его Сезанн и Байль, следя глазами за тающим в вечернем воздухе дымком их первых в жизни трубок.

* * *

В 1825 году, то есть примерно лет тридцать назад, город Экс приобрел бывшую часовню Мальтийского рыцарского ордена иоаннитов. Здание это было отведено под городской музей, туда же перевели и школу рисования, которая щедротами герцога Вилларского существует с конца XVIII века, точнее с 1766 года.

Школа эта бесплатная. Преподают в ней хранитель музея Жозеф Жибер, человек лет под пятьдесят²⁷, художник-портретист, воспитанный в строжайших академических традициях; он пишет преимущественно церковников, генералов да испанских инфантов; высшие министерские чины тоже удостоивают его своими заказами. У него учится много молодежи, в том числе и добряк Филипп Солари, готовящийся стать скульптором. К нему не замедлил присоединиться и Сезанн; он ходит на вечерние занятия.

Луи-Огюст не счел нужным противиться желанию сына посещать эту школу. Рисование, живопись в такой же мере, как и музыка, – это те изящные искусства, какими дети богатых людей вправе скрашивать свой досуг. Мария Сезанн и та рисует маленькие акварели. Пусть Поль, раз это доставляет ему удовольствие, сидит после коллежа взаперти в бывшей часовне мальтийцев под неусыпным надзором Жибера: так лучше, в тысячу раз лучше, нежели бегать по кафе или за первой встречной юбкой.

В школе рисования Сезанн оказывается в совершенно новой для него среде. Большинство молодых людей, с которыми он там встречается, готовятся к различным художественным профессиям. Многие хотят стать живописцами, как, например, Огюст²⁸, брат скульптора Франсуа Трюфема, или сын бедного сапожника Нума Кост²⁹ – он на два с половиной года моложе Сезанна; посещая бесплатную школу отцов-иезуитов, Кост по мере возможности занимается еще и самообразованием. Сезанн быстро сходится с ним и с великовозрастным верзилой Жозефом Вильевье³⁰, который на целых десять лет старше его и уже работает в области прикладного искусства; благонамеренный мещанин по своим вкусам, он в ранней юности учился у Гране – того самого Гране, который был другом Энгра. Завязывает Сезанн знакомство и с семнадцатилетним Жозефом Гюо³¹, сыном резчика камей по камню и раковинам, ставшего впоследствии архитектором города Экса. Всесторонне одаренный, Жозеф Гюо в равной мере увлекается и театром, и живописью, и архитектурой; все в один голос предсказывают, что его ждет большое будущее, а может быть, и слава.

²⁷ Жибер родился в Эксе 23 апреля 1808 года.

²⁸ Огюст Трюфем родился в 1836 году.

²⁹ Нума Кост родился 28 августа 1843 года.

³⁰ Жозеф Вильевье родился 6 августа 1829 года.

³¹ Гюо родился 8 июля 1840 года.



Луи Ленен. Игроки в карты.

Время от времени Сезанн отправляется в музей полюбоваться картинами и статуями. Экский музей открыт с 1858 года. Вначале он располагал всего лишь несколькими разрозненными образцами античного искусства да полотнами Клерияна, бывшего хранителя этого музея. Постепенно он пополнялся. В 1849 году Гране, умирая, завещал музею кое-какие свои работы и коллекции. Еще несколько таких завещаний и дарственных, и каталог разбух. Сезанн смотрит картины, в большинстве своем произведения малозначительных французских и итальянских художников XVII века – «tenebroso», – близких по своей беспокойной манере к Караваджо и художникам барокко. Подолгу простаивает он перед картиной «Игроки в карты» – несколько застывших в довольно удачно найденных позах фигуры, – изучая это полотно, принадлежащее, как гласит каталог, кисти Луи Ленена.

Разглядывая эти картины, Сезанн грезит, как грезил некогда, рассматривая иллюстрации «Магазин Питтореск». Временами он даже берется за кисть, пытаясь воспроизвести по памяти то или иное увиденное им в музее полотно или какую-нибудь запыленную олеографию, замеченную в витрине антиквара.

* * *

В октябре 1857 года Сезанн и Байль перешли в первый класс, а Золя во второй, для него прошедший учебный год был годом поистине триумфальным. Первая награда, отличные баллы по всем предметам, включая закон божий и рисование (у Сезанна тоже первая награда, а по рисованию он опять, как в прошлом году, и похвального листа не получил). В сочинениях у Золя явное превосходство перед друзьями. Между прочим, не так давно преподаватель литературы, которого особенно поразила одна работа Золя, написанная им по

собственной инициативе в стихах, сказал ему: «Золя, вы будете писателем», – что в какой-то мере соответствовало мечтам Эмиля о будущем.

К сожалению, семейные дела его принимают менее благоприятный оборот. С каждым месяцем Золя все более и более впадают в беспросветную нужду, им приходится периодически менять квартиру. Прожив какое-то время на улице Миним, на самом краю города, они осели на улице Мазарини в бедной-пребедной квартирке: две тесные клетушки, окнами на улочку, упирающуюся в полуразрушенную стену старинной эхской крепости. У Золя нет уже ничего, никакой мебели, у них остались одни долги. А тут еще в ноябре умирает бабушка Эмиля. Уроженка провинции Бос, живая и крепкая (у нее не было ни одного седого волоса), полная неутомимой энергии, не унывающая перед невзгодами, она пускала в ход всю свою недюжинную изобретательность, чтобы как-то скрасить убогое существование семьи, чтобы при скудных средствах как-то извернуться. Ее не стало, и Золя оказались в безнадежном, можно сказать, отчаянном положении. Вот почему г-жа Золя решила поехать в Париж, чтобы обратиться за помощью к старым знакомым покойного мужа.

Эмиль с дедом остаются в Эксе одни. Хотя семья переживает тяжелые времена, Золя не теряет веры в будущее. Он говорит друзьям о своем «большом мужестве»: его нисколько не пугает бедность, он заранее готов посвятить жизнь «труду и борьбе». Неразлучные продолжают свои походы, они загораются при одной мысли о мансардах, где зреют «великие думы». В глуши холмов, вдаль от презренных городов они по-прежнему зачитываются стихами Мюссе и рисуют в воображении своем будущих возлюбленных: это либо «веселые смуглянки, царицы жатв и сбора винограда», либо «златокудрая бледнолицая девочка, выступающая в венке из вербены так томно, что кажется, будто она вот-вот вознесется на небо».

Иногда Сезанн берет с собой альбом для набросков, на тот случай, если по дороге ему приглянется какой-нибудь живописный уголок.

Но вот в феврале 1858 года Золя получает от матери совершенно неожиданное письмо: «Жить в Эксе нет больше возможности. Продай оставшуюся рухлядь. Вырученных денег тебе и дедушке хватит на два билета третьего класса. Поторопись. Жду».

Что должен был чувствовать Золя, читая это письмо и передавая его содержание Сезанну и Байлю! Увы! Их чудесной жизни втроем пришел конец. Однако ничто не потеряно. Золя «катит» в Париж. Придет день, когда оба его друга последуют за ним. Придет день, когда все трое встретятся там, в столице, и, связанные братскими узами, верные идеалам юности, станут сражаться бок о бок.

Прогулявшись напоследок в Толоне и к плотине, Золя покидает своих товарищей и первым из трех неразлучных отправляется разведчиком «на поиски, – как он говорит, – лаврового венка и возлюбленной, которые бог приберегает к их двадцатилетию».

III. «И я художник»

Этот безнаказанный порок – живопись.

Критик

Сезанн, вероятно, никогда не думал, что отъезд Золя причинит ему такую боль. Байлю, конечно, тоже несколько не по себе, и он всячески это подчеркивает. Он скучает по Эмилю, сожалеет, что его нет, но не больше. Это несколько не мешает ему усердно готовиться к экзамену на степень бакалавра одновременно естественных наук и словесности, который он рассчитывает сдать в конце школьного года. Его грусть – чисто внешнее проявление, а не крик души – своего рода дань дружбе. Этого не скажешь о Сезанне. Хотя у него есть Байль, есть любящая семья, Сезанн вдруг почувствовал себя одиноким и покинутым. В длинных письмах к Золя, где шуточные стишки, сами собой срывающиеся с пера, вплетаются в прозу, едва ли более серьезную, а подчас и вовсе гаерскую (обычная болтовня школьника), сквозь этот чуть принужденный наигрыш проглядывает смятение. Словно стараясь нарочитой иронией умалить искренность признания, он пишет: «Дорогой мой, с той поры, как ты покинул Экс, меня гложет черная тоска; право, я не лгу. Не узнаю самого себя: глуп, туп, неповоротлив». И в самом деле, Сезанн учится теперь далеко не с прежним рвением, готовит уроки кое-как и получает одни лишь более чем посредственные баллы. Поль не находит себе места, живет лишь мечтой о предстоящих каникулах, которые вернут ему друга, и тогда да здравствует радость!

Впрочем, в тот период его мучит и многое другое. Не рисование ли отбивает у него охоту к занятиям? Во всяком случае, в школе Жибера он делает явные успехи. К тому же еще этот девятнадцатилетний мальчик пленился некоей прелестной особой.

Горе-увлечение! Сезанн, который весь цепенеет при мысли о необходимости что-то предпринять, «молча сохнет» и довольствуется тем, что издали любит своей милой. Ну до чего же он несмел и неловок, до чего неуверен там, где нужно быть решительным! Вечно он сомневается в себе. В письмах к Эмилю Поль всячески старается эффектными шутками приглушить, скрыть его, это сомнение, но тщетно, оно неизменно проступает вновь. Его любовные дела? Все в прежнем положении. Ничего он «не добьется», разве что счастье само придет ему в руки. А экзамен на степень бакалавра? Тоже мало утешительного. Байль сдаст, а он нет: «Погубят, провалят, вышибут, оглушат, обратят в камень, повергнут в прах – вот что со мной сделают».

Однако юность вопреки всему довольно легко побеждает. В сумбурных письмах к Золя Сезанн пишет для него стихи, десятки и десятки стихов, всегда исполненные безудержной фантазии, в которых подчас звучит чуть уловимая нотка непристойности. Рассказывает ему обо всем и ни о чем, задает рифмы для игры в буриме³², посылает ребусы, сообщает все в том же шутовском стиле мелкие и крупные события экской жизни, живо и насмешливо описывает, к примеру, непогоду, которая в мае этого года свирепствует в Эксе: 5° тепла, дождь льет как из ведра, на всех улицах поют литании, моля бога и всех святых прекратить этот потоп. «У меня голова идет кругом, – пишет он Золя, – со всех сторон только и слышно „ога про nobis“»³³. Временами, однако, у него неожиданно вырывается мимолетное, как вздох, признание, придающее необычный оттенок горечи дурашливым словам, какими он тешит себя и Золя. «Глубокая печаль владеет мною», – проскальзывает у Сезанна между шутками.

³² «Bouts rimes» – буквально «рифмованные концы» (франц.), отсюда литературная игра «буриме» – стихи на заданные рифмы. (Прим. пер.)

³³ Католическая молитва. (Прим. пер.)

Душевное состояние Золя там, в Париже, близко к сезанновскому. 1 марта он поступил в лицей Сен-Луи, где благодаря протекции давнишнего друга его отца, адвоката при государственном совете Лабо, ему удалось получить стипендию. Золя так же, как Сезанн, если не больше, да, несомненно, больше, чем он, страдает от разлуки, жестоко страдает. Сезанн по крайней мере остался в Эксе; он по-прежнему живет в привычной обстановке, а это большая поддержка. Ничего подобного нет у Золя. Париж, серый, хмурый, враждебный, выбивает его из колеи. Одиночество гнетет Эмиля, он чувствует, что в лицее Сен-Луи ему не завести себе ни друга, ни приятеля. Он здесь такой же «чужак», каким был когда-то в Эксе. Насмешка судьбы: он, кому в Эксе дали кличку Парижанин, здесь получил прозвище Марселец. Всех смешит произношение Золя; и снова, больше чем когда-либо, ему ставят в вину его бедность. В глазах этих богатых сынков стипендиат прежде всего человек сторонний, втершийся в их среду. Большинство учащихся лицея Сен-Луи, те, у кого парижская жизнь и домашняя среда с малолетства выработали изощренность ума, гораздо смекалистее своих сверстников из коллежа Бурбон. У этих столичных юнцов, рано познавших жизнь, все словечки и повадки взрослых мужчин. С презрительной жалостью смотрят они на этого запуганного ими тупицу, который в свои восемнадцать лет во втором классе едва тащится в хвосте; на этого провинциала, на этого «чужака» – откуда свалился такой недотепа? С луны, что ли? Ничего он не знает – ни новой литературы, о которой все говорят, ни искусства, ни театра, он даже не в курсе скандальных историй полусвета.

Мало того, что Золя оторвали от друзей, от солнечного Прованса, судьбе было угодно еще забросить его к этим мальчишкам, подавляющим его своим превосходством. Пришибленный, он замыкается в себе, совершенно перестает работать, не готовит заданий, не учит уроков; вчера еще первый ученик, он отстывает в ряды самых последних, снова становится тем «неучем», каким был когда-то, до встречи с Сезанном. Власть над ним еще имеют разве только его единственные гении-хранители – литература и поэзия. Иногда – хоть какая-то радость! – преподаватель словесности читает в классе его сочинения. Но в остальном никакого просвета. Во время занятий Золя, укрывшись за спиной одноклассника, упивается романами Гюго и Мюссе; недавно он впервые познакомился с произведениями Рабле и Монтеня. Он пишет вперемежку со стихами комедию «Одураченный репетитор». В посланиях к Сезанну и Байлю он поверяет им свою тоску, постоянно требует, чтобы они чаще и пространнее отвечали на его письма, вечно пеняет им, что они, особенно Байль, не аккуратны в переписке.

Возвращаясь домой, на улицу Месье ле Прэнс, 63, он находит неуютную, полупустую квартиру, где на всем лежит унылая печать неизбывной нужды, ибо великое переселение семьи Золя из Экса в Париж несколько не облегчило ее горькой участи.

И когда только наступят каникулы! Когда же он снова увидит берега Арки, «обманки», куда так приятно погружаться, поднимая пенистый фонтан брызг, искрящихся на солнце. Как-то раз июльским вечером он идет в купальню на Сену. Окунается и тут же выскакивает «в ужасе от этого корыта», где вода цветом «не белее сажи».

Каникулы! Неразлучные, все трое, только о них и мечтают. Сезанн возымел даже честолюбивое намерение написать вместе с Золя большую пятиактную трагедию из жизни Генриха VIII Английского. Но чтобы получить возможность осуществить этот сногшибательный замысел, нужно прежде всего побороть грозное препятствие, грозное, во всяком случае, для Сезанна, то есть сдать экзамен на степень бакалавра, чего он боится с каждым днем все больше и больше. Он предвидит «близкий провал».

Словно в подтверждение его мрачных предчувствий, школьный год для Сезанна и вправду кончается самым плачевным образом: одна первая награда, один похвальный лист за устную латынь – вот и все его успехи. Зато у Жибера в этом году все идет наоборот – он

получает по рисованию вторую награду. «Наш старик», как говорит Золя, совершенно явно сворачивает с того прямого пути, по которому неуклонно идет к своей цели друг Байль.

Тот в конце июля получил степень бакалавра естественных наук. 14 августа, через десять дней после Сезанна, он будет сдавать на степень бакалавра словесных наук. К сожалению, Сезанн, как он того и опасался, не выдержал экзамена. Придется ему пересдавать в ноябрьскую сессию; это испортит ему каникулы.

Пожалуй, они и без того будут немного испорчены. Дадут ли они ему ту радость, какую он так ждал? Золя уже в Эксе. Снова собравшись вместе, неразлучные возобновляют свои прежние веселые прогулки. Но после первых блаженных, восторженных минут встречи какая-то тень омрачает их радость. Отъезд Золя в феврале не только прервал течение их дружбы; этот отъезд, хотя они того не сознают, поставил последнюю точку на странице беспечной поры их отрочества. Вот они уже на пороге зрелости, на пороге серьезной жизни. Пока все, разумеется, идет по-старому. Купанье в Арке, долгие прогулки по пыльной, оцепеневшей от солнца долине, поэтичные привалы в тени олив и сосен, когда звучат стихи, песни, смех, и посещение толонетской плотины, экскурсии к горе Сент-Виктуар или к Пилон дю Руа – ничто, казалось бы, не изменилось. Все так же трунят Сезанн и Золя над чревоугодником Байлем, и Сезанн все такой же транжира. «Черт возьми! – возражает он Золя, который удивляется, как это он умудрился очутиться без денег в тот же день, как получил их. – Ты что хочешь, чтобы мои родители получили наследство, если я сегодня ночью умру?»

Можно подумать, что неразлучные просто возобновили свои привычные отношения. А между тем завтра они снова расстанутся. Золя вернется в лицей Сен-Луи. Байль отправится в Марсель, где будет готовиться к конкурсным экзаменам в Политехническую школу. В Эксе останется один Сезанн; по настоянию отца он поступит на юридический факультет. Завтра неразлучные будут предоставлены каждый своей судьбе; зрелая пора жизни, серьезная пора скоро захватит неразлучных и навсегда разобьет их союз. Да, именно так и будет: что бы они ни говорили, что бы ни делали, прошлое их мертво; игры, смех, умилительно доверчивое содружество теперь лишь пережиток того времени, которое кануло в вечность; и минутами неизъяснимая тоска омрачает их радость, главным образом радость Сезанна и Золя, ибо у них она более искренняя, а следовательно, и более хрупкая.

Ни за что на свете не признались бы себе Золя и Сезанн в этой тоске; стоит ей зашевелиться в груди, как они стремятся поскорее заглушить ее. И громче звучит смех, и звонче песня. Но тщетны их усилия, тоска притаилась в тайниках души, и от этого постоянно присутствующий, всегда готовый овладеть ими страх перед жизнью нисколько не уменьшается.

* * *

1 октября – промелькнули как сон чересчур короткие каникулы – Золя возвращается в Париж. В ноябре Сезанн, наконец, сдал экзамен на степень бакалавра (и вдобавок с оценкой «довольно хорошо»). Он ликует, но радость его быстротечна, потому что теперь ему предстоит, подчиняясь воле отца, поступить на юридический факультет. Но Сезанну до смерти скучно изучать право. Он хочет только одного (медленно созрело в нем это желание!) – рисовать, писать. А не признаться ли родным? Фантазерке-матери – еще куда ни шло. Но если, набравшись храбрости, он как бы невзначай пробормочет отцу о своем желании, тот, вероятнее всего, пожмет плечами и поспешит забыть услышанное. Еще одна блажь его взбалмошного отпрыска! Ежели он считает своим долгом поддержать честь отца, то давно пора взяться за ум и подумать о том, что жизнь не игрушка. Изучая право, Сезанн, разумеется, не только не усердствует, но делает лишь то, что диктуется строгой необходимостью; с досады он пытается втиснуть в двустихий свод законов, начинает сочинять большую поэму на мифологическую тему.

Сезанн жалобно причитает, а Золя в это время лежит в бреду. Не успел он вернуться в Париж, как тяжело занемог: что-то вроде тифозной горячки на полтора месяца приковало его к постели. Головокружение. Тоска. Золя отбивается от осаждающих его кошмарных видений. Тоска, порожденная каникулами – ибо это она, – снова всплывает, торжествует, овладевает им, трагически озаряя своим фосфорическим свечением мрак, в который он погрузился.

«Вокруг меня все черно, я словно возвращаюсь из дальнего путешествия. И как ни странно, даже не знаю, куда уезжал. Меня лихорадит, лихорадка зверем мечется в крови... Да, вспоминаю, все было именно так. Постоянно один и тот же кошмар: я ползу по нескончаемому подземелью. Внезапно всего меня пронизывает сильнейшая боль: натыкаюсь на груды камней, упавших со свода и заваливших все подземелье, проход суживается, запыхавшись, останавливаюсь, чуть дышу; меня охватывает бешеное желание выбраться отсюда; встречая непреодолимое препятствие, пускаю в ход ноги, кулаки, голову, отчаиваюсь когда-нибудь пробиться сквозь этот все растущий обвал...»

Золя, наконец, встает с постели, у него расшатаны зубы, весь рот в язвах; он не может говорить и вынужден, чтобы объясняться, писать на грифельной доске. Разглядывая афиши, расклеенные на стене, в которую упирается окно его комнаты, он убеждается в том, что не может разобрать ни одной буквы.

Сезанн и не подозревает, какая скрытая драма разыгрывается в Париже. О болезни Золя он узнает стороной, от одного общего знакомого. Полученные Сезанном сведения носят чисто формальный характер: врачебный отчет о медикаментах и скачках температуры – в общем ничего такого, что позволило бы ему догадаться о том страшном споре между жизнью и смертью, каким на деле была болезнь Золя. «Приветствую твое выздоровление», – пишет он в декабре своему другу.

Сезанн по-прежнему живет раздвоенной жизнью, разрываясь между факультетом права, с каждым днем все более и более ненавистным и неохотно посещаемым, и школой рисования, куда он не преминул вернуться и где пишет с живой натуры. Он строит планы, которые, несомненно, рассердили бы его отца, узнай тот о них; Сезанн просит Золя справиться об условиях конкурса, проводимого Парижской академией художеств.

У Жибера Сезанн снова встречается своих товарищей: тут и Нума Кост, и Гюо, и Трюфем, и Солари, и Вильевей, тут и сын Жибера Оноре, и некто Понтье, весьма манерный юноша. Между прочим, в этом году школа обогатилась еще одной колоритной фигурой в лице новичка – Жана-Батиста-Матье Шайяна.

Этому Шайяну, сыну крестьянина из Трета, двадцать семь лет³⁴. «Медлительные движения», «воловь шея, от загара черная и грубая, как дубленая кожа»³⁵, выдавали в нем крестьянина. В один из дней этой осени он покинул родное село и в желтой нанковой куртке, в таких же штанах, с палкой в руке пешком добрался до Экса. Что привело его сюда? Всею навсего желание стать «артистом». Дойдя до Бульвара, он спросил полицейского: «Где собираются эские артисты?» – «Артисты? – переспросил полицейский. – Клянусь честью, я их знать не знаю, но видите вон там, чуть подальше, „Кафе двух парней“ – в глубине его есть зал, где постоянно шумят и галдят какие-то люди. Возможно, это они». Справка оказалась точной. «Артисты» приняли этого простака с ласковой и насмешливой терпимостью. «Не в третской ли школе изящных искусств изволили учиться живописи?» – спросил его зубоскал Нума Кост. «Нигде я не учился, – ответил Шайян с чувством превосходства. – Нет никакой надобности учиться. Что может один человек, может и другой. Почему бы мне не сделать

³⁴ Шайян родился 13 февраля 1831 года.

³⁵ Золя.

того, что сделал Рембрандт или Ван Дейк!»³⁶. Тем не менее Шайян разрешил «эским артистам» – снисходительность чистой воды – препроводить себя к Жиберу.

Сезанн благожелательно отнесся к Шайяну. «Славный малый, – говорит он, – и не лишенный некоторой доли поэтичности, только у него до сих пор не было руководства». Что подразумевает Сезанн под словом «руководство»? Не наставления ли такого мэтра, как Жибер? Возможно. А между тем не он ли сам в минутном порыве критикует Жибера? Какая неожиданная покладистость в отношении столь академичного учителя, ниспосланного ему судьбой! Традиционный гуманизм, который Сезанну вчера еще преподносили в коллеже, а сегодня в школе рисования, кажется ему непреложной истиной. Истина эта поддерживает Сезанна; она ободряет его робкую душу, упорядочивает его жизнь, придает ему выдержку, уверенность и неуязвимость. «Страшная штука жизнь!»

Страшная со всех точек зрения! Женщины образуют какой-то свой, странный, таинственный мир, в одно и то же время порочный и пленительный. А любовь, о которой Золя столько твердил ему и Байлю, не смехотворная ли химера, не плод ли большого воображения эта идеальная любовь? В письме к Золя Сезанн вдруг пишет: «Любовь, как ее понимает Мишле, любовь чистая, возвышенная, может быть, и существует, но, согласись, крайне редко». И это пишет Сезанн, который опять влюблен – сейчас даже больше, чем когда-либо, – и опять не делает ни шага, чтобы добиться взаимности.

Байль, приехавший на рождественские каникулы в Экс, всячески убеждает его примкнуть к сторонникам «реализма в любви». По этому поводу между ними разгорается спор: Сезанн в данном случае предпочитает, конечно, спорить, нежели действовать. А вот Золя, тот из Парижа одергивает друзей. «Реализм в любви, – взывает он, – сама мысль эта недостойна нашей юности». Мишле прав, начатое им дело «возвращения мужчины к женщине» должно быть продолжено. Спасти мир может идеализм; он представляет собой одно из условий прогресса.

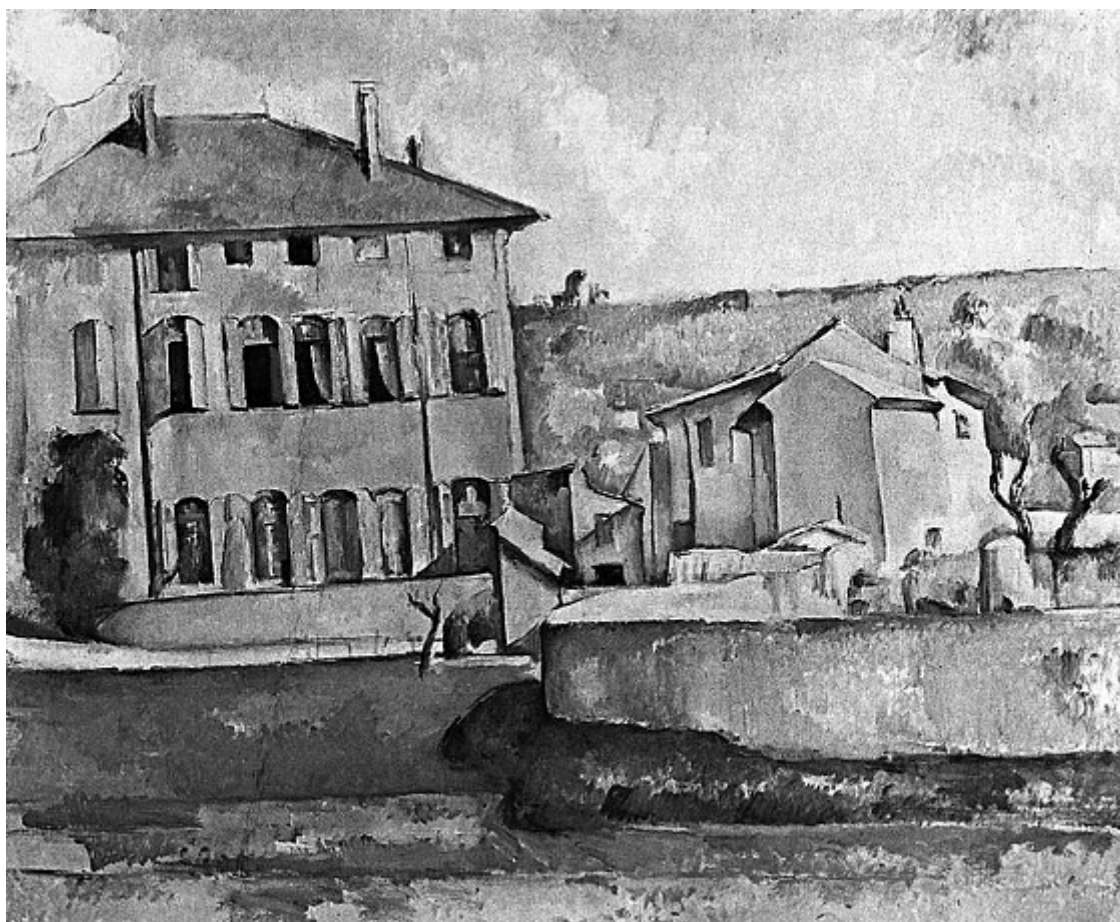
То, что Золя высказывает подобное убеждение именно в такой момент, когда сам он находится в состоянии небывалой подавленности, – немалая его заслуга. Охваченный отращиванием ко всему на свете, чувствуя, что не в силах больше смело смотреть в будущее, он решает – несомненно, один из способов самоубийства – бросить учение и поступить на любую службу, какая только подвернется. Он спохватывается лишь в самую последнюю минуту. Почуввав «бездну», готовую поглотить его, он в ужасе от рисуемого ему серого, мелочного существования отпрянул и, выведенный из состояния подавленности внезапно проснувшимся честолюбием, подстегнувшим его волю, отказался от своего «нелепого, отчаянного решения». «Жизнь борьба, – сказал я себе, – примем же борьбу, и да не остановят нас ни усталость, ни горести». Он подготовится и сдаст экзамен на степень бакалавра словесных наук, а затем изучит право и сделается адвокатом. Это станет его второй профессией, ибо, во-первых, и прежде всего он будет тем, кем рожден, – писателем.

Нужда, тяжелая жизнь, выпавшие на долю его семьи, несомненно, сильно влияют на взгляды Золя. Ни одна такого рода забота никогда не тревожит Сезанна. Что отцовская опека раздражает его, что он порой восстает против власти Луи-Огюста – спору нет; и тем не менее благодаря тому же отцу, чье состояние растет исправно и быстро, Сезанн застрахован от всех превратностей жизни. Денежный вопрос его нисколько не беспокоит. Больше того, так как у Поля нет ни одной разорительной склонности и потребности его, в сущности, доведены до минимума, так как он лишен тщеславия и его по-настоящему занимают и радуют одни лишь мечты, то он неизменно равнодушен к деньгам.

В том же году его отец из прихоти делает самому себе подарок. За каких-нибудь восемьдесят тысяч франков (совсем даром) он покупает у г-на Виллара, бывшего намест-

³⁶ Приведено со слов Мориса Рембо.

ника Прованса, его загородный дом – Жа де Буффан (Жилище ветров), расположенный в полутора километрах от Экса, по Рокфавурской дороге. Жа де Буффан, куда ведет аллея старых величественных каштанов, очень красивое здание XVIII века: широкий фасад, высокие окна, красная черепичная крыша – наподобие генуэзской кровли. Дом окружен большим парком, где в бассейне, украшенном каменными изваяниями – тут и дельфин, тут и львы, – мерцает зеркало воды. Вокруг на пятнадцати гектарах расстилаются луга и виноградники; поодаль густые тутовые деревья скрывают хозяйственные постройки. Это имение Луи-Огюст прежде арендовал и пересдавал барышникам, которые в базарные дни всюду рыщут в поисках пастбища для скота. Отныне хозяином здесь будет он, Луи-Огюст; кроме всего прочего, Жа будет ему служить местом летнего отдыха. Все местные толстосумы имеют городской дом для зимы и загородный для жарких месяцев, когда в Эксе стоит тяжелый, почти удушливый зной.



Поль Сезанн. Дом и деревья в Жа де Буффан.

Не без досады узнает Экс об этом приобретении. В нем усматривают хвастливость выскочки. А между тем при всем своем самодовольстве Луи-Огюст не менее своего сына чужд тщеславия.

В банкире сильно говорит крестьянская кровь. Как истого крестьянина его привлекают лишь реальные ценности; он презирает всякую мишуру – этот ребячий вздор. Луи-Огюст не любит трубить о своих победах, напротив, он бы с радостью скрыл их; ничем не выдавая своего удовлетворенного тщеславия, он в душе кичится, и чем больше скрывает свою заносчивость, тем больше она обостряется. Какое наслаждение быть богачом и не казаться им, богатеть и дурачить окружающих!

Не сущий ли пустяк для Луи-Огюста, если вдуматься, покупка Жа де Буффана, что возбуждала такую зависть и вызвала столько толков? Кто знает, какую часть – двенадцатую, десятую, а то и меньшую – нынешнего состояния Луи-Огюста составляют восемьдесят тысяч франков, заплаченные за это поместье? Впрочем, банкир весьма далек от желания бахвалиться красотой своего Жа де Буффана. Прежний владелец поместья очень запустил его. Сад заглох. В самом доме многие комнаты до крайности обветшали. Эка важность! Луи-Огюст, разумеется, не станет швырять сколько-нибудь значительных сумм на дорогостоящий ремонт. Он ограничится тем, что запрет нежилые комнаты. А об уходе за садом пусть позаботится природа.

Еще равнодушнее, если можно быть равнодушнее, относится к этому приобретению Поль, он даже не потрудился сообщить о нем Эмилю. В глазах Сезанна Жа де Буффан имеет одно лишь достоинство: это приют, в котором царит полнейшая тишина, где можно работать в покое и одиночестве. Что он и делает.

Из окон верхних комнат взору открывается сверкающая, как алмаз, Экская долина. Яркий свет шлифует бесчисленные грани на склонах далеких холмов. Устремленные каждой своей веткой ввысь, сосны и кипарисы, лавры и зеленые дубы в прозрачном воздухе кажутся окаменелыми. Провансальская природа при всей ее блистательной суровости здесь дышит безмятежной задумчивостью – знакомая Сезанну песнь.

Но Сезанну скучно сейчас в Эксе. Думая о Париже, он соединяет воедино любовные грезы и мечты о живописи. Он влюблен в очень хорошенькую, по его мнению, швею Жюстину. Но вот беда: Жюстина, признается он, «не глядит на него». «Стоит мне уставиться на нее, как она опускает глаза и краснеет. С некоторых пор я стал замечать, и вряд ли это мне померещилось, что, повстречавшись со мной на улице, она, повернувшись на каблучках, бежит от меня без оглядки». И хуже того, любовное похождение это кончилось прежде, чем началось. «Как-то раз, – рассказывает Сезанн Золя, – ко мне подходит один парень – такой же первокурсник, как я, некий Сеймар, ты знаешь его. „Дорогой мой“, – обращается он ко мне, берет меня за руку и, повиснув на ней, тащит за собой вниз по склону Итальянской улицы. „Я хочу, – продолжает он, – показать тебе одну хорошенькую малютку; мы любим друг друга“. Признаюсь, в тот миг у меня точно туманом застлало глаза; я, можно сказать, предчувствовал свою беду и не ошибся. Ровно в двенадцать, с последним ударом часов, я увидел, как из швейной мастерской вышла Жюстина; в тот же миг Сеймар подал мне знак. „Вот она“, – сказал он. Я неувидел света, голова у меня пошла кругом, но Сеймар тащил меня за собой до тех пор, пока не подвел вплотную к ней, так что я коснулся платья малютки...» И Сезанн пускается в сетования: «Ах! Каких только воздушных замков, и притом самых безрассудных, не строил я, а, видишь, что получилось: если ты не противен ей, так говорил я себе, ты уедешь с ней в Париж, будешь там жить с ней вдвоем, станешь художником... Мы будем счастливы, говорил я себе, в мечтах я уже писал картины в мастерской на пятом этаже, и ты был со мной, – вот когда бы мы вволю посмеялись. Мне не надо богатства, ты знаешь, каков я, несколько сот франков, и мы, я думаю, были бы довольны. То была мечта, но, клянусь честью, мечта великая...»

Мечта великая, безусловно! Сезанн называет ее так в шутку. Но горечью пронизаны его грезы. Наконец-то близятся каникулы. Скоро приедет Золя, а за ним и Байль, чьи письма становятся все реже и реже: Байль бешено работает, ему недосуг писать друзьям. Когда Сезанну сказали, что Золя приедет в конце июля, он запрыгал от радости. «Видел бы ты, как я прыгал, чуть ли не до потолка, даром что я плохой прыгун», – шутил он.

Усиленно готовясь к экзамену на степень бакалавра, Золя продолжает писать стихи. С лицом Сен-Луи он мало-помалу свyksя и даже сблизился там с Жоржем Пажо, своим одноклассником, который, по его мнению, отличается необыкновенной живостью ума и воображения.

Жажда славы придала смелости Золя, и он отважился представить на суд товарищей свою поэму, посвященную императрице. Однако ожидаемого успеха эта поэма не принесла. Ее сильно раскритиковали. Узнав о том, Сезанн стал в героико-комедийном тоне метать громы и молнии против «пигмеев», не сумевших оценить гениальное творение его друга.

На письменном экзамене в начале августа Золя занимает второе место. Теперь ему остается только сдать устные экзамены – единственное, что еще удерживает его вдали от друзей. К сожалению, испытания проходят неудачно. Во-первых, Золя не знает дату смерти Карла Великого; во-вторых, экзаменатор по французской литературе счел, что суждение Золя о творчестве Лафонтена идет вразрез с общепринятыми взглядами: полный провал. Ничего не поделаешь! Каникулы Эмиль проведет в Эксе, а в ноябре поедет экзаменоваться в Марсель.

Как счастливы неразлучные, что, наконец, снова встретились! Как счастливы! Они стремятся каждую минуту быть вместе. Искусство, поэзия, любовь – вот неисчерпаемые темы их бесед, пружины всех их действий. Сезанн рисует и пишет. Золя, который тоже вздыхает по одной юной жительнице Экса («Воздушная», – прозвал он ее), не уступая в робости Сезанну, не осмеливаясь признаться ей в своей страсти, слагает в ее честь любовную поэму «Родольфо». Он тоже рисует. У Вильевьея делает карандашный набросок двух купальщиц Жана Гужона и даже помогает Сезанну разрисовывать в Жа де Буффане громадную ширму – четыре метра длины на два с половиной метра высоты, предназначенную для кабинета Луи-Огюста: на одной стороне они пишут сцены из сельской жизни, на другой – гирлянды цветов и листьев. Теперь, отправляясь на прогулку, Сезанн никогда не забывает брать с собой тетрадь для зарисовок или кусок холста. Так как он задумал написать картину «Разбойники», вся веселая ватага – Золя, братья Батистен и Изидор Байли, живописно задрапировавшись в какую-то пеструю рвань, по двадцать раз позируют ему в Инфернетах. Сезанн, в свою очередь, служит моделью Шайяну, вознамерившемуся написать его портрет, который – увы! – отнюдь не назовешь удачным образцом этого жанра: щеки у Сезанна получились какого-то бесцветного, белесого тона, лоб – скучного мутно-серого. Решительно у славного Шайяна самоуверенности больше, чем таланта. Байль, будущий студент Политехнического училища, чтобы не отстать от товарищей, помышляет брать уроки литературы, «а математику изучать как поэт и философ». Таким образом, он, несмотря ни на что, будет в поэзии идти в ногу с друзьями, а главное, не уронят себя в их глазах – страх, которым он втайне терзается. Такое стремление делает честь этому «темноволосому толстяку с правильным, хотя и одутловатым лицом»³⁷, которому становится все труднее и труднее следовать за Сезанном и Золя в их нетерпеливых творческих исканиях, в их планах, один чуднее другого.

В этом году Золя лучше использовал свое пребывание в Париже и привез оттуда тьму столичных анекдотов. Он настаивает на том, что Сезанн должен, если он хочет стать художником, любой ценой убедить отца в необходимости отпустить его учиться в Париж. В Эксе он ничему не научится. Здешние обыватели – филистеры из филистеров, Жибер – педант, а экский музей Лувра не заменит. К тому же в Париже его и Сезанна будет согревать дружба, они будут поддерживать друг друга в борьбе и стремлении к славе. Золя наседает на Сезанна: правда ли, что он уже поговорил с отцом по душам, сказал ему о своем призвании и о том, что хочет стать художником?

Да, сказал. Да, конечно. Хотя он и боится отца, хотя знает, как тот огорчается всякий раз, когда застает его врасплох с кистью в руке. В первую минуту Луи-Огюст, казалось, не поверил, что живопись – подлинная страсть его сына. Как? Значит, это не мимолетное увлечение! Значит, Поль действительно хочет всю жизнь заниматься мазней. Какое безумие! Вопрос вовсе не в том, талантлив он или не талантлив. Для Луи-Огюста одно желание

³⁷ Золя.

писать, будь ты хоть Веронезе (еще слышал ли он когда-нибудь это имя?), хоть Жибер, уже само по себе нелепость. Не дело для серьезного человека заниматься живописью. Художники? Вшивая богема, непутевые мечтатели, о чьих достоинствах заявляют во всеуслышание только в надгробном слове.

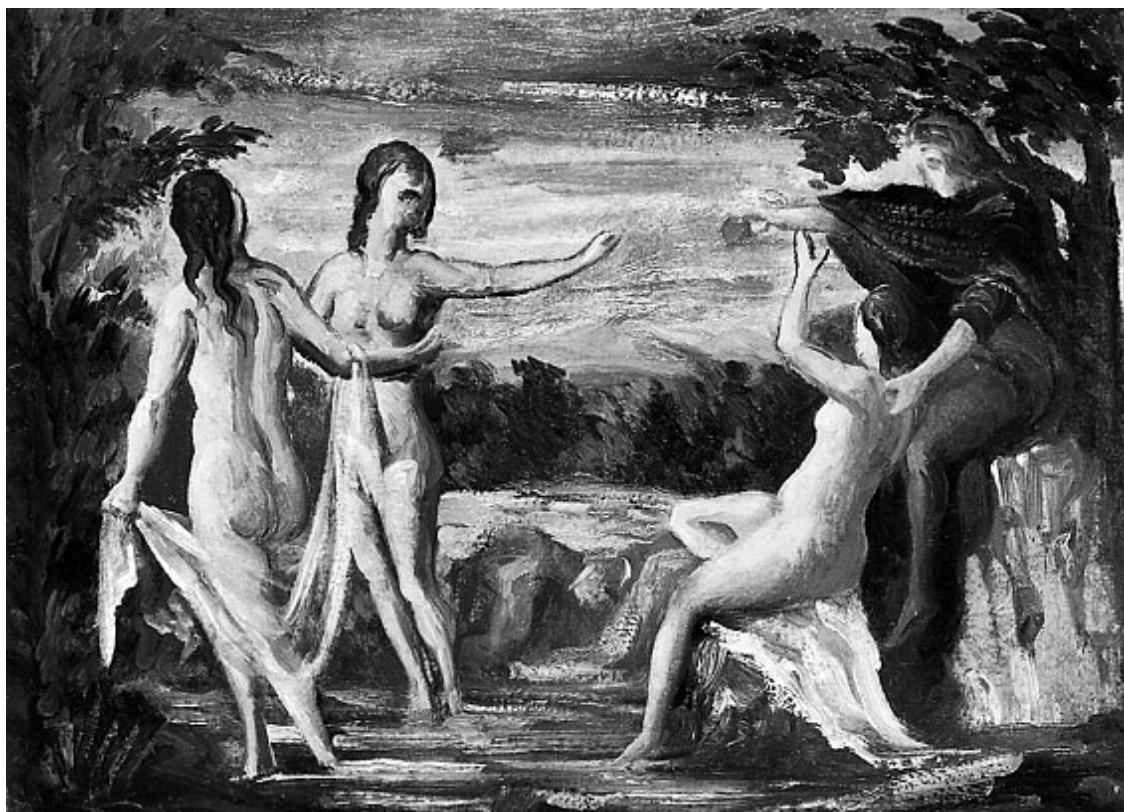
Луи-Огюст пожимает плечами. В голове не укладывается, Поль, его сын, его наследник, который по логике вещей должен был бы в один прекрасный день стать преемником отца и возглавить банк, готов хладнокровно совершить подобную глупость. Скорей бы уж убрался в Париж этот Золя! Потому что зло исходит главным образом от него, бесспорно, от него. Именно он внушает Полю неосуществимые мечты, именно он сбивает его с пути. Кто знает, уж не преследует ли этот сынок разорившегося инженера какую-то свою выгоду? Но частично зло идет и от матери, она так и расцветает при слове «художник». Ее сын художник, куда как лестно! Ну и фантазерка, ну и романтическая душа! От Луи-Огюста не скрылось, что она и Поль состоят в каком-то заговоре, что они о чем-то шепчутся, а при его приближении сразу умолкают. Да нет же, полно, это пройдет! Поль одумается. Мыслимое ли дело, чтобы двадцатилетний малый долго упорствовал в своем безрассудном намерении. «Не мог же я, Луи-Огюст, произвести на свет кретина».

Хотя отец, оборвав его на полуслове, приказал ему продолжать занятия правом, тем не менее Сезанн, которого мать поощряет, а Золя донимает, побуждая к решительным действиям, прикидывает, как бы ему в ближайшее время, скажем в марте, отправиться в Париж.

* * *

В таком волнении проходят все каникулы, вплоть до ноября. В начале этого месяца Байль снова отправляется в Марсель, куда скоро должен поехать и Золя. На первом же письменном экзамене он срезается и в довольно мрачном настроении возвращается в Париж. Между тем Сезанн 28-го числа успешно сдает первый экзамен.

Поль снова остается в одиночестве. Оцепенение Экса тяжело давит на него «По сей день, – пишет он Эмилю, – привычный, размеренный покой постоянно осеняет своими унылыми крылами наш пошлый город». Без всякого подъема продолжает он заниматься на юридическом факультете и снова поступает в школу рисования. Одна лишь живопись все больше и больше захватывает его. Он ходит в музей копировать академические полотна, такие, как «Шильонский узник» Дюбюфа или же «Поцелуй музыки» Фрили, выполненные им с чрезмерным пылом. Для матери, нежной своей союзницы в борьбе против отца, Сезанн пишет «Девушку с попугаем». Пишет он иногда и обнаженных женщин, словно надеясь таким образом избавиться от любовной одержимости, какое-нибудь полотно, вроде картины «Суд Париса», в котором находят выражение его буйные и тягостные желания, весь этот неотступный, изнурительный, горячий бред.



Поль Сезанн. Суд Париса.

На видном месте в своей комнате повесила г-жа Сезанн «Поцелуй музыки» – картину, вполне удовлетворяющую ее вкус и поэтому особенно любимую ею. Луи-Огюст недовольно качает головой. «Дитя, дитя, – говорит он сыну, – подумай о будущем. Талант губит, а деньги кормят!» Несмотря на тяжелый характер и стремление сохранить всю полноту своей власти, Луи-Огюст в душе сокрушается, видя, что сын его несчастлив. Увы! «Жизнь – это шар, который не всегда катится туда, куда направляет его рука», – пишет в то же самое время Сезанну Золя.

Кто-кто, а он, Золя, сейчас больше, чем кто-либо, в состоянии это понять. После провала, отнявшего у него стипендию, ему ничего не остается, как бросить занятия. Он вынужден искать себе любую работу. Однако Эмиль понимает, что, не имея профессии, не проживешь, и у него опускаются руки, Золя погружается в унылое бездействие. Продолжает ли он писать? Да, но без особого увлечения. Он только и делает, что читает, курит, тоскует по своим далеким друзьям и мечтает о недоступных возлюбленных. «Мне нечего сказать, – пишет он Байлю в последние дни декабря. – Я почти не выхожу из дома и живу в Париже, как в деревне. До моей укромной комнаты не доносится шум экипажей, и если бы не чуть заметная из моего окна стрела Валь-де-Граса вдаль, я мог бы подумать, что по-прежнему нахожусь в Эксе».



Поль Сезанн. Сон поэта, или поцелуй музы.

Как раз в эти дни в Париж перебрался Вильевей, но Золя не испытывает большого желания видеть его: Вильевей не Сезанн. Зато одно небольшое событие подстегивает заторможенное внимание Золя: Маргери, бывший первый корнет-а-пистон в духовом оркестре коллежа Бурбон, тоже мечтавший о литературном поприще, недавно стал сотрудничать в эхской газете «Ля Прованс» и напечатал в ней свой роман с продолжением. Золя спешит попытать счастья и посылает в эту газету маленькую, в несколько страничек, сказку в прозе «Влюбленная фея». Ему, который «никогда еще не любил, разве только в мечтах», и который «никогда еще не был любим, даже в мечтах», хотелось бы написать роман на трехстах страницах о любви, зарождающейся, не знающей еще брачных уз, о любви девственной, что воплотила бы в себе его «прекрасный идеал».

Золя рассчитывает с помощью Лабо, который еще раз ходатайствует за него, получить в ближайшее время, то есть в начале 1860 года, должность в управлении доками. Ему невыносимо больше быть на иждивении матери, «ведь она сама кое-как перебивается». Он будет вести двойную жизнь. «Моя установка, — пишет он Байлю, — такова: днем зарабатывать чем придется, а ночью работать для будущего, если я не хочу распрощаться со своими мечтами. Борьба будет долгой, но это меня не пугает; я чувствую в себе нечто, и если это нечто и впрямь существует, оно рано или поздно проявится. Итак, никаких воздушных замков, железная логика: прежде всего обеспечить себе хлеб насущный, затем уже выяснить,

действительно ли имеется что-нибудь у меня за душой. Если ничего нет, если я ошибся, буду весь век кормиться безвестной службой и жить в слезах и мечтах, как живут многие на этой бедной земле». Так думает Золя по крайней мере в лучшие минуты. Ибо чаще всего он пасует, отчаивается. Его мать снова переехала и на этот раз сняла такую маленькую, тесную квартирку, что Золя вынужден поселиться в меблированных комнатах. Жизнь его разлагивается. У него бывают минуты полного неверия в свои силы, когда ему кажется, будто все написанное им «детский лепет и пакость». Париж такой же тусклый, как любая картина Шайяна. Париж – это всего лишь холодная каменная пустыня, где душа не находит ни малейшего отклика. Только бы удалось Полю приехать в Париж, только бы удалось ему переубедить отца и не отменить назначенного на март свидания. Одной этой надеждой и живет Золя. «Я удручен, не могу и двух слов написать; ходить и то не могу. Думая о будущем, я рисую его себе таким исчерна-черным, что в ужасе пчусь от него. Ни денег, ни профессии, ничего, кроме отчаяния. Ни одной души, на которую можно было бы опереться, ни женщины, ни друга. Всюду равнодушие, презрение. Вот что представляется моему взору, когда я устремляю его вдаль. Ах! Если бы Сезанн, да, если бы Сезанн...»

Ну, а что же Сезанн? Сезанн в эти пять февральских дней, казалось, был близок к победе. Банкир в конце концов дрогнул перед желанием, сложившимся в упрямой душе его сына, и перед семейной коалицией. Но – ибо здесь есть «но» – прежде чем, принять окончательно решение, он идет к Жиберу посоветоваться относительно своевременности отъезда сына. Простая мера элементарного благоразумия? Или же хитрость человека, наделенного даром мгновенно обнаруживать слабое место противника? Так или иначе, но Жибер, с которым банкир переговаривал, выказывает себя не слишком горячим сторонником затеи, ведь с отъездом Поля он теряет ученика.

Такая оттяжка кажется Золя весьма дурным предзнаменованием, тем более что Сезанн, всегда легко переходящий от воодушевления к сомнению, вздумал задать ему странный вопрос: а что, в Париже и вправду можно хорошо работать?

Золя, зная, как легко выбить его друга из седла и как тот беспомощен в практической жизни, торопится набросать ему совершенно точную программу, которая жесткостью своей обезоружила бы самого Луи-Огюста: «Вот как будет распределено твое время. С шести до одиннадцати ты в мастерской пишешь с живой натуры, потом обедаешь, с двенадцати до четырех ты в Лувре или в Люксембурге копируешь любой приглянувшийся тебе шедевр. В общей сложности ты проработаешь девять часов, думаю, этого достаточно, такой режим, конечно, не замедлит благотворно сказаться. Как видишь, вечера останутся целиком в нашем распоряжении; досуг мы употребим по своему усмотрению и без ущерба для занятий. А по воскресеньям, вырвавшись на свободу, мы будем уходить за несколько миль от Парижа; места здесь чудесные, и, если тебе захочется, ты набросаешь на куске холста деревья, в тени которых мы будем завтракать». Теперь денежный вопрос. Со ста двадцатью пятью франками в месяц³⁸, которые отец собирается давать Сезанну, – это, конечно, не густо, перебиться можно. «Я хочу подсчитать все твои возможные расходы. Комната – 20 франков в месяц; завтрак 18 су и обед 22 су составят 2 франка в день, или 60 франков в месяц, плюс 20 франков за комнату, получится 80 франков в месяц. Затем плата за мастерскую; одна из самых дешевых, мастерская Сюиса, обойдется, по-моему, в 10 франков, кладу еще 10 франков на холст, кисти, краски; итого – 100 франков. У тебя, стало быть, останется 25 франков на стирку белья, освещение, на непредвиденные расходы, табак и мелкие развлечения; как видишь, в эту сумму можно только-только уложиться, и поверь, я ничего не преувеличил, а скорее приуменьшил. Впрочем, это будет для тебя хорошей школой; ты узнаешь цену деньгам и поймешь, как должен умный человек выходить из любого положения». Последняя фраза

³⁸ Банкир-миллионер явно не склонен был проявить большую щедрость. Что это, еще один способ образумить сына?

явно написана в расчете на Луи-Огюста. Однако Золя добавляет: «Советую тебе показать этот счет отцу, возможно, что грустная реальность цифр заставит его еще немного раскошелиться. С другой стороны, – продолжает Золя, – ты мог бы найти себе здесь источник дохода. Этюды, написанные в мастерской, особенно же копии с луврских картин, отлично продаются; делая хотя бы одну копию в месяц, ты значительно пополнил бы сумму карманных денег. Вся штука в том, чтобы найти продавца, но это вопрос поисков. Приезжай смело; раз хлеб и вино обеспечены, можно спокойно заниматься искусством».

К несчастью, Жибер, в душе, возможно, скептически относившийся к таланту Сезанна, стоит на своем. Он отговаривает его от поездки: стать художником можно с таким же успехом в Эксе, как и в Париже. Луи-Огюст не берется спорить об этом с человеком искусства. Итак, договорились: Поль до конца прослушает курс юридических наук, а пока будет заниматься рисованием и живописью. Учитель у него здесь прекрасный, богатейший музей к его услугам, чего еще желать? Впрочем, сейчас вообще не время уезжать из дома: заболела сестренка Роза. Словом, вопрос решен!

Нет! Такого рода вопросы так легко не решаются. На карту поставлена судьба Сезанна, Поля Сезанна. И он это знает. По ту сторону эских холмов высится Париж, город, где процветают все виды искусства, ибо для Сезанна Париж – это Лувр, это царственная роскошь титиановских красок, это пышность рубенсовской плоти, это сияние рембрандтовских сумерек. Сезанн жил надеждой; разочарование убивает его. Недавняя задумчивая грусть перерастает в щемящую боль. Он поражен в самое сердце, он терзается, молчит, постоянно куда-то уходит, домой возвращается только поесть и переночевать. Обстановка в семье Сезаннов с каждым днем становится все тягостнее. Проклятая живопись, да это сущий недуг! – с горьким недоумением думает отец. Поль, мрачный, замкнутый, почти впавший в прострацию, хранит упорное молчание. Видя его таким, мать тяжело вздыхает.

И тем не менее Сезанн продолжает писать, но сердце у него обливается кровью, настроение подавленное, и из этой подавленности его время от времени выводит лишь короткая вспышка судорожного гнева; яростно набрасывается он на едва начатое полотно и с бешеной силой, одним взмахом руки соскабливает, уничтожает все, что написал. Сомнение закрадывается ему в душу. У него деревянные пальцы, неловкие, неспособные передать то, что он хочет выразить, бессильные справиться с тем стремительным потоком впечатлений, который захлестывает его, как только он берет в руки кисть. Усталость овладевает им, и он с отвращением бросает палитру. А что, если Жибер прав? Жибер? Он мастер прописывать рецепты, в большинстве случаев недейственные! Ах, Париж! Тот Париж, куда отец боится отпустить его: дурные знакомства, пагубные примеры, кафе, веселые девчонки! Париж! Париж! Но, может быть, он и ни к чему?

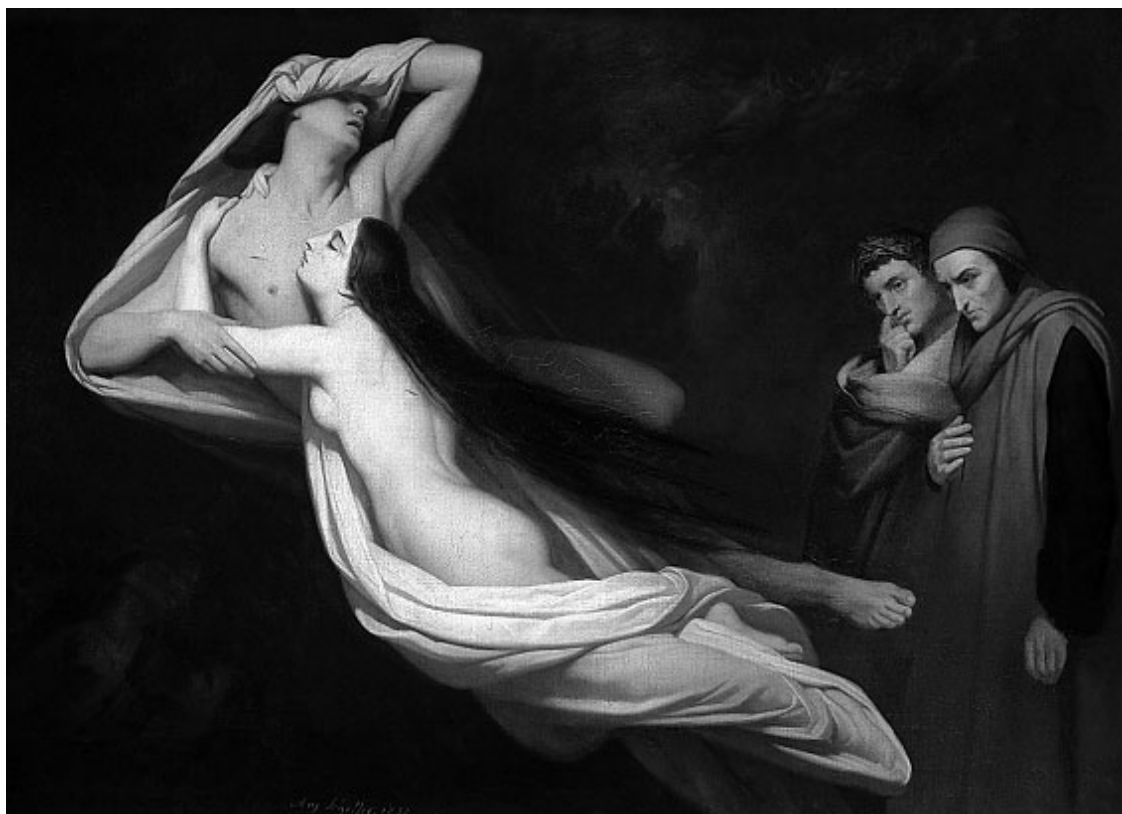
«Живопись, которую я люблю, хотя она не дается мне...» – мельком замечает Сезанн в одном из своих писем к Золя (они стали редкими: у Сезанна, он сам в том признается, рука не подымается писать даже другу). Фраза эта до боли потрясла Золя. «Тебе! Тебе не дается! – вырывается у него крик. – Думаю, ты недооцениваешь свои возможности». Сейчас Золя тоже пребывает в полной растерянности. Несостоявшееся мартовское свидание жестоко ранило его. В начале апреля он поступил в «док Наполеона», помещавшийся на улице Дуан, где получает шестьдесят франков в месяц. Ему там смертельно скучно. С девяти утра до четырех часов дня он, зевая, регистрирует заявления о ввозимых и вывозимых товарах, переписывает начисто всю текущую корреспонденцию. Лучи солнца, бьющие в грязные стекла конторы, обостряют его тоску по утерянной свободе. Вокруг, куда ни глянь, одни лишь пыльные папки да служащие, «в большинстве своем тупоумные». Несмотря на бесцветное существование, которое он не устает проклинять, Золя пытается все же найти в глубине души хоть какую-то каплю бодрости, чтобы перелить ее в своего дорогого Поля. Пусть г-н Сезанн, «будущий великий художник», не поддается унынию. Поворот событий не отвечает их желанию; и все-

таки было бы нелепостью считать дело проигранным. Нужно пуститься на хитрость. Золя намечает Сезанну линию поведения: «В угоду отцу ты должен как можно прилежнее изучать право. Но ты должен также учиться рисовать сильно и крепко, „*unguibus et rostro*“»³⁹.

Между прочим, заметив, что в своих письмах они о поэзии говорят всегда, а о живописи почти никогда, Золя решает, видимо обвиняя себя в эгоизме, занять Сезанна беседой о самом дорогом для него и дать ему несколько советов. Сезанн, у которого, пожалуй, имеются веские основания не касаться в разговоре с Золя вопросов живописи, по всей вероятности, с изумлением читает нескончаемую болтовню друга. Ах, и надо же быть такому недоумению, чтобы именно он, этот ласковый, нежный, всегда предупредительный Эмиль, который так печется об их дружбе, чтобы именно он был столь несведущ в живописи, столь мало чувствовал ее! Впрочем, Золя и сам это признает. «Отличить белое от черного – вот самое большое, на что я способен в живописи», – говорит он. Однако это не мешает ему быть категоричным в своих суждениях. Оценивая живопись с позиций писателя и видя в картине всего лишь сюжетный замысел, он именем поэзии заклинает Сезанна остерегаться реализма; шумно выражает свое преклонение перед Грезом и перед умершим год назад Ари Шеффером, этим «гениальным художником, влюбленным в идеал».

Золя равно умоляет Сезанна – и что ему на ум взбрело? – не поддаваться соблазну легкой наживы и не торговать своим искусством, фабрикуя на скорую руку рыночные картины. «Реалисты пусть на свой лад, но все-таки серьезно занимаются искусством, они работают добросовестно. А торгаши, те, что утром пишут, чтобы вечером было на что поужинать, влечат жалкое существование». В заключение Золя поверяет другу свой сон. «Я написал прекрасную книгу, – рассказывает он, – книгу превосходную, к которой ты сделал прекрасные, превосходные иллюстрации. Наши имена золотыми буквами горели на заглавном листе и, неотделимо слитые в братском единении талантов, переходили в века. К сожалению, это опять был лишь сон».

³⁹ Когтями и клювом (лат.).



Ари Шеффер. Появление призраков Паоло и Франчески да Римини перед Данте и Виргилием.

В конце апреля Луи-Огюст, казалось, смягчился. Сезанн уведомил об этом Золя; тот ответил ему: «Будь тверд, оставаясь почтительным. Помни – решается твое будущее, а с ним и твое счастье». А тучи и вправду рассеялись? В какой-то день Луи-Огюст как будто бы заколебался, но назавтра сопротивление его стало еще упорнее. Такая смена настроений ослабляла волю Сезанна. Вслед за Вильевьеом, к которому в пасхальный понедельник Золя наконец-то решился пойти, в Париже, в свою очередь, появился и Шайян. Он работает в мастерской папаши Сюиса! Он делает копии в Лувре! Счастливцев. Счастливцев потому, что он в Париже, счастливцев потому, что так уверен в себе! И Трюфем тоже собирается в Париж. Сезанн мрачнеет все больше. На пасхальные каникулы в Жа де Буффан приехал Байль. Поглощенный своими тяжелыми мыслями, издерганный, сердитый, Сезанн встретил его весьма нелюбезно. Он едва сообразовал что-то процедить сквозь зубы. Байль ушел от него разобиженный. Незадолго до того он, терзаясь смутным страхом, вздумал спросить у Золя: «Не сочтете ли вы меня недостойным вашей дружбы, увидев, что я не способен служить искусству – ни своей живописью, ни поэзией?» В ответ Золя задает ему аналогичный вопрос: «Не сочтешь ли ты нас, писаку и мазилу, двух несчастных бедняков, представителей богемы, недостойными твоей дружбы, увидев, что мы не способны создать себе положение?» А теперь вот Сезанн грубо оттолкнул его! Байль жалуется Золя, а тот, беспокоясь за их дружбу и щадя самолюбие каждого из них, спешит одновременно успокоить Байля и напомнить Сезанну, что надо быть поласковее. «Мне кажется, – пишет он Сезанну, – что нити, связывавшие тебя с Байлем, заметно ослабли, видимо, одно звено нашей цепи вот-вот разомкнется. И с трепетом душевным я прошу тебя подумать о наших веселых прогулках, о том, как мы клялись, поднимая бокалы, всю жизнь идти, обнявшись, одной тропой». Байль, безусловно, не совсем такой, как они, он, безусловно, «не из одного с ними теста»; и тем не менее он вправе ждать от них дружеского расположения. А вот «беднягу Сезанна, – обра-

щается Золя теперь к Байлю, – надо простить, ибо он не всегда знает, что делает, в чем сам, шутя, признается... Когда он огорчает вас, пеняйте не на его характер, а на злого духа, что омрачает его рассудок». Как нельзя более осторожный в своих замечаниях Сезанну, Золя советует Байлю вести себя с ним крайне сдержанно. «Пошли ему одно за другим несколько писем, но не обижайся, если он будет отвечать тебе с опозданием; пусть письма твои будут такими же ласковыми, как прежде, а главное, пусть в них не будет ни малейшего намека, ни тени напоминания о вашей маленькой размолвке; словом, пусть все будет так, точно между вами ничего не произошло. Мы нашего больного еще не вполне вылечили, будем же во избежание рецидива предельно осторожны».

Как хочется Золя быть убедительным! Дружба Сезанна и Байля – это все, что есть у него в жизни. Службой своей в доке он с каждым днем тяготится все больше и больше. Чтобы немного развлечься, он иногда отправляется за город – в Сен-Клу, Сен-Манде или же в Версаль. Но вскоре ему становится до того тошно, что он увольняется. Пусть нужда, только не застой. Такой шаг привел к тому, что Байль разразился потоком отчаянных писем.

Уязвленный приемом Сезанна, который пока еще не возобновил с ним переписку, Байль все меньше и меньше понимает, что руководит поступками его друзей. Их поведение, непоследовательность, бестолковые метания – не это ли они понимают под словом «поэзия»? Короче, весь их образ действий приводит его в замешательство. Этот невозмутимо благоразумный, до банальности рассудительный юноша, который не позволяет себе ни на секунду отвлекаться от дела, порицает Золя за то, что он «не нашел в себе мужества глянуть в лицо действительности, создать себе положение, которого можно было бы не стыдиться». – «Дружище, ты рассуждаешь, как дитя, – возражает Золя. – Действительность, тебе ли говорить о ней! Где ты встречал ее?.. Я хочу только такого положения, которое позволило бы мне мечтать в свое удовольствие. Рано или поздно я вернусь к поэзии. Ты твердишь мне о дутой славе поэтов; ты называешь их безумцами, кричишь, что не будешь таким дураком, как те, кто ради признания готов умереть на чердаке». Какое «богохульство»!» Хотя слова эти выдают всю глубину разногласия, Золя отмахивается от очевидности. Цепляясь вопреки здравому смыслу за дружбу, которую водоворот жизни, захлестывающий всех троих, подтачивает все больше и больше, он заявляет: «Нашу дружбу, разумеется, разность взглядов не ослабит».

И тем не менее в письмах Золя начинают проскальзывать нотки раздражения. В июне он признается, что «писульки» Байля выводят его из себя. «В твоём письме, – выговаривает он ему, – ты все твердишь: „положение“, „положение“, а это именно то слово, что злит меня больше всего. Твои последние восемь писем своим стилем разбогатевшего лавочника действуют мне на нервы». И он с горечью добавляет: «Письмо, которое ты мне прислал, это письмо не двадцатилетнего юноши, не того Байля, какого я знал... Чистосердечен ли ты? Правда ли, что ты больше не мечтаешь о свободе?.. Что твои запросы ограничиваются материальным благополучием? В таком случае, бедный друг мой, мне жаль тебя; в таком случае все написанное мною покажется тебе, как ты уже сказал, лишённым основания, хладнокровия и здравого смысла».

Эта ссора неминуемо должна была заставить Золя призадуматься над отношениями его и Сезанна. Прав ли он, когда постоянно старается подхлестнуть слабеющую энергию Сезанна, когда хочет оторвать его от семьи, от родного, погруженного в сонную одурь города, когда пытается толкнуть его на путь художника.

До июня этого года Сезанн никогда еще так не падал духом. Его борьба с отцом продолжается. И борьба с живописью тоже. Бывают минуты, когда, вконец измученный, он говорит лишь о том, «как бы подальше швырнуть кисти». Живопись, Париж! Закусив в бешенстве удила, Сезанн отказывается от всего и, ожесточившись, уходит с головой в юридические науки. Но вот буря миновала. И, чувствуя, что нет у него сил жить вне творчества, нет у

него сил порвать со своей безнадежной страстью к живописи, нет сил больше ни утолить эту страсть, ни вырвать ее из сердца, Сезанн снова, себе на муку, возвращается к мольберту.

«Избави бог, чтобы я стал твоим злым гением, – пишет ему Золя, – чтобы, превознося искусство и мечты, я сделал тебя несчастным. Не могу все же этому верить; за нашей дружбой не может скрываться демон, увлекающий обоих нас на гибель. Наберись-ка мужества, возьми снова за кисти, дай полную свободу своему причудливому воображению. Я верю в тебя; впрочем, если я толкаю тебя на беду, да падет она на мою голову».

Несмотря на тяжелое материальное положение (он добивается хоть какой-нибудь службы, но все его хлопоты безуспешны), к Золя снова вернулась былая твердость. Его девиз – все или ничего. Он либо выиграет, либо проиграет свою жизнь, но не отступится от задуманного. Он станет писателем. «Я не хотел бы, – заявляет он Байлю, – идти по чьим бы то ни было стопам; не потому что я претендую на звание главы школы, такой человек, как правило, придерживается определенной системы, а потому, что хотел бы найти какую-нибудь нехоженую тропу и выделиться из толпы современных писак». Увы! К полному отчаянию Золя, ничего подобного не наблюдается у Сезанна. Никакой смелости, уверенности меньше, чем когда-либо. Буйный взлет – и головокружительное падение. Лихорадка поисков – и горечь бессилия. «Я питаюсь иллюзиями», – говорит Сезанн.

На стенах большой гостиной в Жа де Буффане он написал четыре панно – времена года; закончив работу, он с издевкой подписывается «Энгр». Ирония в адрес всеми почитаемого мэтра академической живописи? Дерзость весьма недвусмысленная. Однако это насмешка и в адрес собственной несостоятельности.

Золя то узнает о том, что Сезанн должен со дня на день прибыть в Париж, то ему вдруг сообщают о бесповоротном решении Поля бросить живопись. «Я хочу только поболтать с тобой, не надо никаких серьезных разговоров, ибо поступки и слова мои противоречат друг другу», – пишет Сезанн Золя в один из июльских дней.

Золя сердится, осуждает друга за бесхарактерность. Причина постоянных увиливаний Сезанна кроется, по его мнению, не только в противодействии отца, но и в такой же мере, если не в большей, и в его собственной нерешительности. Какое равнодушие! Продолжает ли хотя бы Сезанн говорить с отцом о своих планах? Да имеются ли еще у него какие-либо планы? «Быть может, живопись для тебя лишь прихоть, мысль о ней ты вбил себе в голову от скуки? А может быть, она для тебя лишь приятное времяпрепровождение, тема разговора, предлог не корпеть над учебниками? В таком случае твое поведение мне понятно: ты правильно делаешь, что не доводишь дело до крайности и не создаешь себе новых семейных неурядиц. Но если живопись твое призвание – а я всегда только так полагал, – если ты чувствуешь себя способным, хорошо поработав, добиться успеха, то ты становишься для меня загадкой, сфинксом, чем-то немыслимым и непостижимым».

У неразлучных все идет положительно из рук вон плохо. Корабль их трещит по всем швам. Байль считает себя оскорбленным, несмотря на то, что Золя, не щадя сил, старается утихомирить его. Золя, утверждает он, счел меня «кретином». «Да нет же», – возражает Золя. И все-таки он должен признать, что Байль, который пишет ему такие «рассудительные, такие безнадежно практичные» письма, уже не тот веселый товарищ их юности, каким был прежде. Ах, когда же он сможет осуществить задуманную им поездку в Экс! Там он мог бы, как бывало, успокоить Байля, зажечь Сезанна, думает Золя. Ему живется далеко не весело. Тщетно ищет он работу, сидит без денег. Несколько ломтиков хлеба с сыром или с оливковым маслом – вот и вся его еда. Он существует только тем, что закладывает в ломбард оставшиеся у него вещи. Нужда подтачивает его здоровье, приводит в состояние лихорадочной возбужденности, неуравновешенности. Лучшим лекарством, думается ему, была бы поездка в Экс. Увы! Лето идет, а он вынужден бесконечно откладывать отъезд. За все лето ему выпала

единственная радость: Сезанн и Байль встретились в Эксе и, кажется, окончательно забыли свою распрю.

В середине октября Золя приходится оставить всякую мысль о поездке. В этом году он не увидит друзей. Ослабев от недоедания, он тоже падает духом и, отчаявшись, без единой мысли в голове погружается в бездеятельность. Байль заверил Золя, что Сезанн приедет в Париж в марте будущего года. Но Золя столько раз бывал обманут в ожиданиях, что больше ничему не верит; он даже не хочет больше говорить с Сезанном относительно планов на их свидание.

А между тем вопреки мнению Золя Сезанн у себя в Эксе не отрекся от своего замысла. Он продолжает идти к намеченной цели тем извилистым путем, который так раздражает его друга. Отец не уступает. Но и сын не уступает. Деспотизм отца наталкивается на пассивное упорство сына. Сезанн совсем почти перестает посещать лекции на юридическом факультете. Этой зимой он все время проводит за мольбертом. Пишет в школе рисования. Пишет в музее. Пишет в Жа де Буффане, пишет, сидя «на обледелой земле, не замечая холода». Пишет всегда и везде. Пишет с гравюр, с картин Жипа или Ланкре, пишет с фотографии свой автопортрет – мрачное, упрямое, до драматизма напряженное лицо, – и даже пишет портрет отца: Луи-Огюст с неизменным картузом на голове сидит, скрестив ноги, и читает газету. Он согласился позировать. Быть может, он готов признать свое поражение?

Чувствуя, что сын ускользает от него, Луи-Огюст вдруг взрывается и со всей резкостью и прямоотой обрушивается на Золя: именно он причина всех этих бредней, именно он «из гнусного расчета» сбивает Поля с пути и, преследуя свою выгоду, сманивает его в Париж. Но это последнее сопротивление Луи-Огюста. Взбешенный таким враждебным выпадом, Золя собирается дать отпор и пишет Байлю письмо, в котором оправдывается. Однако он не успевает его отправить. На следующий день чуть свет его будит громовой голос. Кто-то на лестнице зовет его по имени. Бросившись к двери, он распахивает ее. На пороге стоит Поль Сезанн.

Луи-Огюст сдался. Еще два дня назад все оставалось неопределенным. Потом вдруг Луи-Огюст сказал «да». Он решил, взяв с собой Марию, проводить сына в Париж. Раз Полю хочется во что бы то ни стало вкусить богемной жизни, пусть попробует. Может случиться, да, может случиться, что несколько месяцев голодовки лучше всяких слов научат этого упрямяца понимать истинную ценность вещей. С этими словами Луи-Огюст вытащил из шкафа свои парадные башмаки (те, которые чистят) и цилиндр. Он воспользуется этой поездкой, чтобы повидать парижских представителей своего банка. «Не мог же я, Луи-Огюст, произвести на свет кретина».

IV. Парижские мансарды

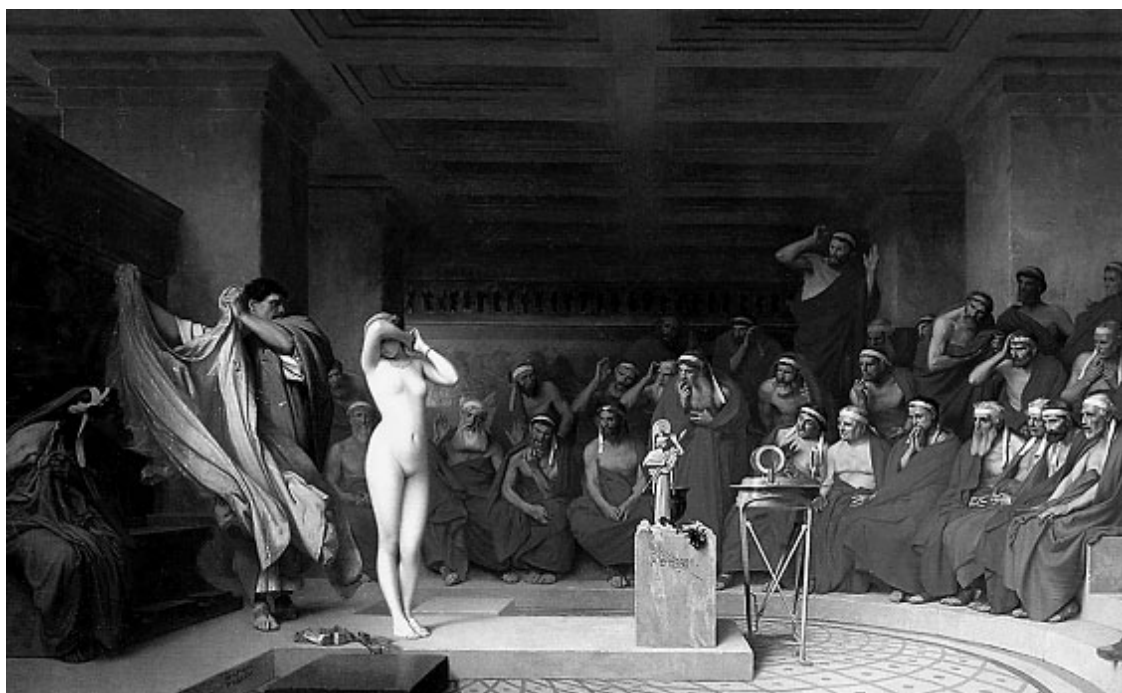
*Однажды вечером я посадил
Красоту к себе на колени.
Она была горькой,
И я нанес ей оскорбление.*

Артюр Рембо. «Одно лето в аду»

Луи-Огюст в Париже не задержался. Пробыв там два-три дня – Сезанны остановились в гостинице на улице Кокийер, близ центрального Рынка, – он с дочерью уехал обратно в Экс. Через гг. Ленде, парижских представителей банка «Сезанн и Кабассоль», Поль будет получать сто пятьдесят франков в месяц (следовательно, на двадцать пять франков больше, чем он рассчитывал).

Наконец-то Поль и Эмиль вместе. Осуществилась их заветная мечта. Сезанн снимает меблированную комнату на улице Фейантин, неподалеку от квартала Пантеон, где живет его друг.

С удивлением, с восторгом, но и с некоторой долей томительного беспокойства знакомится Сезанн с Парижем 1861 года. Этот невзрачный двадцатидвухлетний провинциал, которого к тому же природа наградила резким южным акцентом, внезапно попадает в совершенно иной, чуждый ему мир. Вторая империя находится в полном расцвете. В то время как красотки полусвета, разоряющие богатых сынков, выставляют напоказ кричащую роскошь, в то время как щеголи у Тортони или в кафе «Англэ» непринужденно болтают, барон Осман разворачивает в Париже огромное строительство. На левом берегу, где живут Сезанн и Золя, только что на месте старых домов разбили бульвар де Себастополь; здесь же прокладывают улицу де Ренн, улицу д'Эколь, улицу Монж; вырос из земли Палэ де Терм.



Жан-Луи Жером. Фрина перед ареопагом.

Для влюбленного в тишину и уединение Сезанна здесь шума и суеты больше чем достаточно. Решительно странный город этот Париж. Кочуя с места на место, Золя в конце концов находит пристанище в меблированных комнатах на улице Суффлю – своего рода притон, облюбованный проститутками, где полицейские облавы еженочно поднимают на ноги весь дом. Вот она, изнанка Парижа! Бедный Золя! Кто бы догадался по его письмам, что он так нуждается? Его письма не давали точного представления об этом нищенском существовании, об этом гнусном соседстве, об этих чересчур откровенных разговорах и характерных звуках, проникающих сквозь тонкие перегородки мебелишек. Несмотря на такую жизнь, на упорное недомогание, вызванное постоянными лишениями, на полное отсутствие работы, на допотопное, позеленевшее от времени пальто, составляющее вместе с худыми брюками весь его гардероб, несмотря на все это, Золя не изверился. Он продолжает быть тем, кем хочет быть, – поэтом: как раз в эти дни он заканчивает поэму чуть ли не в тысячу двести строк. В один прекрасный день Париж будет покорен!

Золя, разумеется, спешит повести Сезанна в Лувр, в Люксембург и, конечно, в Версаль. «Месиво красок, какое заключено в этих удивительно величественных зданиях, сногшибательно, ошеломляюще, поразительно», – признает Сезанн. В особенности Салон – страх и ужас! – восхищает так, что дальше идти некуда. Поль вскрикивает перед каждой картиной Кабанеля, Жерома, Мейссонье, Жан-Луи Гамона, Изидора Пильса и других официальных мэтров, которые в 1861 году выставляют всякие там «Битвы при Альме», «Император в Сольферино», «Фрина перед Ареопагом» или же такие портреты, как «Портрет г-на Руэра, министра земледелия».

Не теряя времени, Сезанн берется за работу. Он намерен поступить в Академию художеств. Чтобы подготовиться к экзамену, он записывается в мастерскую Сюиса и работает там ежедневно с шести часов утра.



Александр Кабанель. Офелия.

Мастерская Сюиса помещается на третьем этаже старого дома в Сите, на углу бульвара Пале и набережной д'Орфевр. Организовал эту мастерскую папаша Сюис, в прошлом натур-

щик. Много художников – среди них и такие крупные, как Делакруа, Курбе, Боннингтон, – подымалось по этой деревянной лестнице, грязной и шаткой, в большой, голый, прокуренный зал, обставленный лишь несколькими скамьями – зал мастерской. У Сюиса уроков не дают; никто здесь не преподает, рисунков никто не исправляет. За определенную месячную плату ученику три недели позирует натурщик, четвертую неделю – натурщица.

Дом этот не лишен своеобразного колорита. Здесь же помещается зубо врачебный кабинет, дантист славится низкими расценками (вырвать зуб – двадцать су) и молниеносными, хотя и зверскими, приемами. Далеко, еще с набережной, видна его огромная вывеска: «Сабра, дантист для народа». Нередко случается, что его пациенты по ошибке открывают дверь мастерской. Увидев обнаженную модель, они, сконфуженные, ударяются в бегство под плоские шуточки мазил.



Гюстав Курбе. Мастерская художника.

Мастерская Сюиса – очаг крамолы. Здесь фрондируют, критикуя империю и наиболее признанных художников. Здесь бродит вино будущего. Каждый начинающий художник, который приходит в мастерскую, привносит сюда свое недовольство, свои убеждения. Около шести лет проработал тут молодой буржуа Эдуар Мане; в этом году как раз он впервые – а ему уже под тридцать⁴⁰ – выставляется в Салоне: жюри приняло два его полотна, одно из них, «Испанский гитарист», очень расхвалил Теофиль Готье.

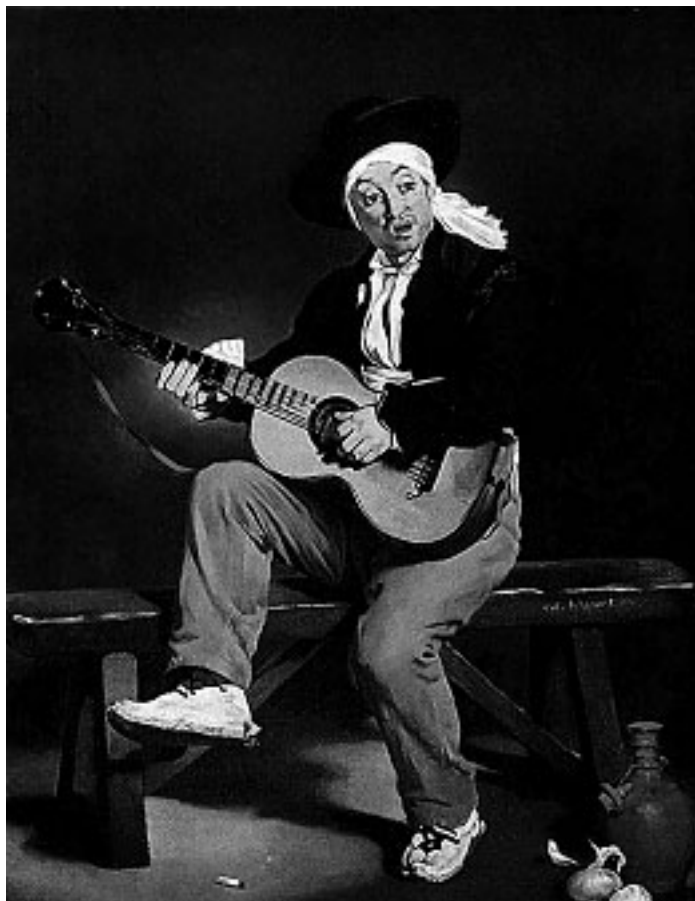
Записался к Сюису и некто Клод Моне, но его сейчас нет в Париже: он взят в армию и послан в Алжир. В мастерской Сюиса этот двадцатилетний⁴¹ юноша завязал дружеские отношения с Камилем Писсарро, уроженцем одного из Антильских островов, а именно острова Сен-Томе (датское владение⁴²), который, желая посвятить себя живописи, обосновался с 1855 года во Франции. Писсарро никогда не работал в мастерской Сюиса, но, бывая время от времени проездом в столице, заходит сюда повидаться с друзьями.

⁴⁰ Мане родился в Париже 25 января 1832 года.

⁴¹ Моне родился в Париже 14 ноября 1840 года.

⁴² Писсарро родился 10 июля 1830 года. Остров Сен-Томе ныне принадлежит Америке. В 1917 году Соединенные Штаты откупили его у Дании.

В этой среде, для него такой новой, не похожей на среду экской школы рисования, Сезанн неизбежно должен был чувствовать себя несколько принужденно. На свое счастье, он встретил у Сюиса человека, которого по крайней мере не смешил его акцент: то был один из его земляков, носящий пышное имя Ашиль Амперер. Они сразу сдружились.



Эдуар Мане. Испанский гитарист (Гитарреро).

Своеобразный человек! Телом карлик, и карлик, созданный природой точно под злую руку. Огромная голова с шапкой волос, широкими прядями ниспадающих на высокий лоб, посажена на массивное, бесформенное туловище; грудная клетка как бы сплющена, на спине горб. С таким туловищем сочленяются тонкие, голенастые ноги. Но в этом обезображенном теле горит пламенная душа. Под гротескной оболочкой уродца скрывается подлинная гордость. Им движет, его преображает трагическая воля. Шляпа набекрень, рука картинно в бок, под полрой пальто – трость или зонт (чем не шпага?) и величественная осанка, насколько позволяет малый рост; в своем бешено упорном желании «подрасти» он каждое утро по часу выделяет специальные упражнения на трапеции.

У него, обойденного природой, есть одна-единственная любовь – красота, преимущественно женская, которая преследует его, которую он неустанно и, по правде говоря, зачастую с одержимостью маньяка стремится передать сангиной, углем, красками, причем он с такой нежной лаской лепит округлое, пышнозадое женское тело, словно лелеет мечту оплодотворить его. Амперер⁴³, сын контролера мер и весов в экской субпрефектуре, всю свою жизнь – он на десять лет старше Сезанна – не знал других стремлений, кроме славы. В Эксе он подобно Сезанну и значительно раньше его учился в школе Жибера, а в 1857 году (Сезанн

⁴³ Амперер родился в Эксе в 1829 году.

в то время был в предпоследнем классе коллежа Бурбон) уехал в Париж. Здесь он влечит нищенское существование, питается неизвестно чем, расходуя не свыше десяти су в день, но ни на йоту не отступает от своего идеала, ибо убежден в собственной гениальности и к тому же не способен жить вне вдохновляющей его мечты.



Поль Сезанн. Портрет живописца Ашиля Ампера. 1867–1870 гг.

С Сезанном Амперер готов часами спорить об искусстве. В Лувре он тащит своего земляка к полотнам Рубенса, Тициана, Джорджоне, Веронезе. Откинув со лба пышную гриву, потрясая мушкетерской бородкой, он говорит, вернее кричит, о своем страстном преклонении перед этими великими колористами, королями цветущей плоти, и под влиянием его речей Сезанн еще сильнее предается своим романтическим фантазиям. Не оправдала ли себя полностью обоюдная симпатия, мгновенно, с первого взгляда возникшая у этих двух людей? Как много общего связывает их, хотя многое могло бы и развести! Не увлекает ли их обоих один и тот же пылкий романтизм? Так ли уж разнятся сезанновские, по существу, реалистические «ню» от ампереровских? Не служат ли для того и для другого эти «ню» лишь средством освобождения? Не в равной ли мере бессильны перед женщиной, перед прекрасным полом и юноша, снедаемый желанием, но парализованный непреодолимой робостью, и жалкий карлик, чьи глаза на миг загораются огнем вожделения, но которого сдерживает страх

быть отвергнутым и осмеянным? Лишь в одном вопросе, в вопросе Делакруа, Амперер и Сезанн никак не могут прийти к соглашению. Сезанн стоит на своем: Делакруа всем мастерам мастер; а по мнению Амперера, Делакруа по меньшей мере нуль рядом с Тинторетто, только краски переводит. Сказал тоже! Амперер, считает Сезанн, «сильно пересаливает».

Постепенно Сезанн сходится и с другими посетителями мастерской Сюиса. Он знакомится со славным малым Антуаном Гийеме – изящные золотистые усики, живые глаза, приветливое лицо, прекрасная осанка – и с одним испанцем, родом из Пуэрто-Рико, Франческо Оллер-и-Честеро, который, в свою очередь, представляет его своему другу Писсарро.

Писсарро, милейший человек, добряк по натуре, сразу же привязывается к Сезанну. Он считает, что сезанновские работы не лишены оригинальности, и поощряет его, советуя быть настойчивым: он, безусловно, впоследствии создаст хорошие полотна.



Эжен Делакруа. Поединок гяура с пашой.

Эти дружелюбные слова должны были оказать на Сезанна поистине благотворное действие. Одну вещь он твердо усвоил в Париже: ему, чтобы стать художником, надо учиться всему сначала. С болью отдает он себе отчет в том, что ничего, решительно ничего не знает. Какая нелепость! Уехать из Экса, бросить намеченный, уже открывавшийся путь! Прав был отец! Сезанн в Париже всего лишь месяц с небольшим, а он уже в минуты уныния – таких минут наберется много – поговаривает о том, чтобы поскорее вернуться домой и поступить в какое-нибудь торговое предприятие. «Мне не хотелось бы омрачать грустью эти несколько строчек, – пишет он Жозефу Гюю в письме от 4 июня, – но все же надо признать, что на сердце у меня невесело. Живу как-нибудь, потихоньку да помаленьку... Покидая Экс, я думал избавиться от своей неотступной тоски. Но только место переменил, а тоска последовала за мной».

Золя чуть не плачет оттого, что его друг так быстро сложил оружие. Он отваживается сделать ему внушение. Безуспешно. «Увы, – жалуется Золя в письме к Байлю, – теперь не то, что в Эксе, когда нам было по восемнадцати и мы были свободны от забот о будущем». У Золя самого положение далеко не из приятных. Но ничто: ни лютая нужда, ни с каждым днем все обостряющееся недомогание, ни отсутствие уверенности в завтрашнем дне (если бы не мать, он пошел бы в солдаты) – ничто не может омрачить радость, какую ему доставила встреча с Сезанном. Ах, как хочется помочь другу, поддержать его советом! Он рад бы служить ему опорой. Да, он рад бы руководить им! К сожалению, Сезанн вовсе не расположен прислушиваться к нему. Бесконечные тирады Золя выводят из себя и без того желчного, недовольного собой, неуравновешенного, обидчивого Сезанна. Вся эта болтовня только озлобляет его. Покровительственный тон, в какой легко впадает Золя, встречает у него мгновенный отпор. Уж не хочет ли Золя «закрючить» его? Проворчав себе что-то под нос, Сезанн умолкает или уклоняется от разговора и тем самым обрывает разглагольствования друга или же, вконец измученный, в запальчивости кричит, что Эмиль ничего, абсолютно ничего не понимает.

Золя не прочь опубликовать сборник, куда вошли бы три его поэмы, и не потому что они удовлетворяют его, о, нисколько, а потому что он, по его выражению, «устал молчать». Он изголодался по успеху; преуспеть в самом материальном смысле этого слова – вот что его заботит. Тревоги Сезанна совсем иного свойства: страх и беспокойство вселяют в него и проблемы, присущие тому роду искусства, какое он избрал, и размер и количество трудностей, которые вдруг открылись перед ним; вот от чего его лихорадит, вот что делает его таким вспыльчивым и раздражительным. Такая возбудимость огорчает Золя тем более, что ему невдомек, чем она вызвана; он разочаровывается в своем лучшем друге. С изумлением и скорбью приглядывается он к Сезанну и ставит ему в вину упрямство, взбалмошность и безрассудство. В пространных письмах к Байлю он изливает душу, жалуется, сердится.

«Доказать что-либо Сезанну, – высказывается он, – так же легко, как заставить башни Нотр-Дам танцевать кадрили. Даже сказав „да“, он не сдвинется с места... Он сделан из цельного куска твердого и неподатливого материала; его ничем не сломишь, у него не вырвешь ни одной уступки. Даже планы свои и те он не желает обсуждать, он боится обсуждения, во-первых, потому, что говорить утомительно; во-вторых, из страха, что придется изменить свои взгляды, если другая сторона окажется права... А в остальном самый лучший парень на свете». Золя заключает свое письмо словами, в которых сквозит досада: «Я надеялся, что с годами он как-то изменится. Но я нашел его таким, каким оставил. Поэтому моя линия поведения очень проста: никогда не препятствовать его сумасбродным идеям; если давать ему советы, то лишь весьма косвенные; верить, что он по своей доброте пощадит нашу дружбу; никогда первым не протягивать ему руки, дабы он не был вынужден пожать ее против воли; одним словом, совершенно ступешаться, весело встречать его приход, не надоедать ему своими посещениями, предоставить ему самому установить ту степень близости, какая его устраивает... Не подумай, будто между нами пробежала черная кошка, мы по-прежнему очень привязаны друг к другу».

Конечно, дружба Сезанна и Золя отнюдь не оборвалась. Однако встречи их становятся все реже, так что видятся они в общем сравнительно мало. Золя мечтал о больших «прогулках» по парижским окрестностям, по берегу Сены, о прогулках, которые напоминали бы им их провансальские вылазки; он мечтал жить вдвоем в братском единении: прекрасные эти замыслы развеялись, как дым на ветру. Хотя Сезанн начал портрет Золя, но пишет его урывками, только в том случае, если Золя осмеливается после обеда постучаться к нему. Словно это единственное время дня, когда и для их дружбы может найтись минутка. Все утро до одиннадцати часов Сезанн проводит у Сюиса; сразу же после сеанса он завтракает, всегда за пятнадцать су и всегда один; после полудня он отправляется работать к Вильевьею

– он живет теперь в Париже, и весьма комфортабельно, – который помогает ему советами. Вернувшись от него, Сезанн ужинает и ложится спать. И все! «На это ли я надеялся?» – вздыхает Золя.

Но ему ничего другого не остается. Сезанн убегает, исчезает на целые дни. Ни друзья, которых он завел себе в мастерской Сюиса, ни его дорогой Золя, столь трогательный в своей навязчивой любви, ни Вильевьей и его прелестная жена – ее розовое личико сияет улыбкой и множеством ямочек, – так сердечно принимающие его, чей очаг зажиточных буржуа (Вильевьей работает у своего тестя, декоратора с улицы де Севр) кажется ему приютом доброты, ни Шайян, на какое-то мгновение забавляющий его, – никто и ничто не может успокоить Сезанна. В эти месяцы – июнь, июль – его смятение растет изо дня в день. Он продолжает рисовать и писать у Сюиса и у Вильевьей, но всегда в раздраженном состоянии и все с более и более явным отвращением к самому себе и к тому, что он делает. Отец был прав! Отец был прав! Кисти сами собой ломаются в дрожащих от нетерпения пальцах Сезанна.

Измученный, больной, издерганный, Сезанн переезжает с улицы Фейантин на соседнюю улицу Анфер. Он бежит. Однажды Золя узнает, что он покинул Париж и уехал в Маркуси (департамент Сена и Уаза). Что сказать? Сказать нечего! Надо быть совершенно безрассудным, чтобы до такой степени поддаться унынию. Золя устало пожимает плечами.

Однако он сам в это время нуждается в поддержке. Здоровье его решительно пошатнулось; он страдает от болей в желудке, в груди; бывает у него и кровохарканье. А между тем ему подвернулась работенка: он корректирует труды одного экономиста, который, со своей стороны, обещал свести его кое с кем из писателей и даже найти ему издателя. Борьба будет долгой и жестокой. Хватит ли у Золя сил вести ее? К кому обратиться за ободряющим словом в минуты душевного упадка? Байль, тот и сам ноет не меньше Сезанна, проклинает поприще, к которому готовится. Что ж, так они все трое и сдадутся, один за другим? «Вы не поверите, – пишет Золя Байлю, – до чего губительно отражается на мне ваш отказ от борьбы. Когда я вижу, как вы склоняетесь к мысли, что мы, все трое, глупы и бездарны, я спрашиваю себя, не обуюла ли меня гордыня, вправе ли я еще верить в себя и стремиться к тому, что вы считаете безнадежным. Каким злополучным ветром подуло на нас? Для того ли мы боролись, чтобы отчаяться в победе, и неужели же нам придется отступить, еще не сделав шага вперед? Говорю вам, у вас нет мужества, и с вами я и сам перестаю быть мужественным; не в пример вам, я не отрекся от своей юности, не распростился с мечтами о славе; я все еще тверд, а между тем из всех троих я самый несчастный и самый стесненный в средствах».

В августе – приятная неожиданность! – Сезанн, вернувшись из Маркуси, бросается на шею Золя. Теперь они ежедневно проводят по шесть часов вместе. По правде говоря, Золя не без тревоги наслаждается обществом друга. И действительно, никогда еще у Сезанна не было такого неустойчивого настроения. Он то заладит петь с утра до вечера один и тот же дурацкий куплет; то вдруг потемнеет, как туча, и все твердит: «Хочу немедленно уехать в Экс». Такая мысль ни на миг не покидает его, хотя он и виду не подает; но она гложет его, и от Золя это не ускользает. Стоит лишь парижскому небу нахмуриться, как Сезанн тут же мрачнеет от тоски по своему далекому Провансу и начинает недовольно фыркать. Блуждающим взглядом смотрит он на свое полотно или рисунок, руки у него опускаются, и в нем растет заглохшее было дикое искушение бросить палитру, кисти и вернуться в свой тихий городок, стать там лавочником, приказчиком, кем угодно, лишь бы бежать, вырвать из сердца свое нелепое желание и вновь обрести покой. Золя огорчен, он упорно старается переубедить Сезанна, внушить ему, что он сделает непоправимую глупость, если уедет обратно в Экс.

«Когда будешь писать Полю, – советует Золя Байлю, которому не сегодня-завтра предстоит держать вступительный экзамен в Политехническую школу, – не забудь напомнить ему, что близится день нашей встречи, и распиши ее в самых радужных красках; это единственный способ удержать его в Париже». Но сумеет ли Золя добиться своего, даже с помо-

щью Байля? Кто-кто, а сам Золя в этом сильно сомневается. Два раза уже порывался Поль сложить чемоданы. Только красноречивые увещевания Эмиля останавливали его на полпути, и он снова принимался за работу. Но насколько его хватит?

Стараясь в последний раз удержать друга, Золя пускается на хитрость: он предлагает Сезанну закончить его, Золя, портрет. Сезанн с радостью хватается за эту мысль. Увы! Радость его быстро угасает. Ничто в этом портрете не нравится Сезанну. Ничто! Злой, недовольный, он пишет и переписывает его. Случается, что во время сеанса – Золя позирует на редкость терпеливо, он нем и недвижим, «как сфинкс», – кто-то из знакомых Сезанна робко постучится к нему в дверь. Сезанн смотрит букой и продолжает как ни в чем не бывало работать, только кисти еще яростнее ходят в его руках; непрошенный гость тут же исчезает. Нет, дело решительно не идет! И никогда не пойдет, никогда! Ну, так вот, пусть Золя еще один раз попозирует ему напоследок, и больше чтоб не было никаких разговоров об этом портрете. К черту живопись!

На другой день Золя приходит в назначенный час к Сезанну и застаёт того в хлопотах. Посреди комнаты стоит раскрытый чемодан, а Поль как бешеный носится вокруг него, опорожняя ящики, опрокидывая все вверх дном, как попало запихивая вещи в чемодан. «Завтра еду», – бросает он на ходу. «А мой портрет!» – восклицает Золя. «Твой портрет я только что порвал, – отвечает Сезанн. – Сегодня утром я хотел было его немного прописать, но так как он становился все хуже и хуже, я уничтожил его и уезжаю».

Золя не произносит ни слова. К чему теперь слова?

Друзья идут вместе завтракать. Сезанн успокаивается, обещает остаться. Но Золя изверился. Не уедет Сезанн на этой неделе, уедет на следующей. Теперь Золя в этом убежден. «И я даже думаю, что он правильно сделает», – пишет он Байлю. Золя проиграл. «Очень может быть, что у Поля талант великого художника, но у него нет таланта стать им», – приходит он к грустному выводу. Сезанну никогда не быть Сезанном.

Некоторое время спустя Луи-Огюст, лукаво поблескивая глазами, принимает в Эксе своего блудного сына.

Луи-Огюст выиграл.

V. «Неизбывно желание наше»

*Если я существую, значит это я, и никто иной.
Лотреамон. «Песни Мальдорора»*

Луи-Огюст выиграл. Он очень доволен, что позволил сыну проделать этот парижский опыт, который кончился так, как он предвидел или, вернее, как желал. Ничто лучше холодной струи действительности не отрезвляет этих чересчур пылких фантазеров, не избавляет их от несбыточных грез, не правда ли? Теперь уже маловероятно, что Поль когда-нибудь вернется к своему ребячеству; исцелен, и полностью исцелен! Лекарство подействовало превосходно: в этом не трудно убедиться, стоит лишь взглянуть на Поля.

И правда, Сезанну, по-видимому, так опостытели и Париж и живопись, что он переносит свою неудачу без тени горечи. Испытываемое им чувство облегчения, удовольствие, какое доставляет ему родной, вновь обретенный Прованс, радость матери и обеих сестер, которые счастливы, что он опять с ними, и даже удовлетворение отца, пожалуй чересчур явное, вливают в него покой и беззаботность. Наконец-то он такой, каким и должен быть молодой человек! Поль Сезанн послушно поступает в отцовский банк, где ему предстоит постигнуть премудрость, необходимую для карьеры делового человека.

* * *

Контора банкирского дома на улице Булегон. Склонившись над раскрытыми бухгалтерскими книгами, Сезанн работает. Проценты, акции, дивиденды, краткосрочные и долгосрочные ссуды, учет векселей – цифры пляшут у него перед глазами. Как ни старается он сосредоточиться, как ни пытается приневолить себя, внимание его поминутно рассеивается. Ему скучно, оживление его меркнет; и порою в нем вспыхивают, подсказанные предательской памятью, картины Парижа. Мастерская Сюиса, сеансы у Вильевьея, разглагольствования Золя, его мечты о славе... Что делает ныне Золя? Расстались они холодно и с тех пор не переписываются. Байль принят в Политехническое, сейчас он в Париже. В свободные от занятий дни он, несомненно, видится с Золя, гуляет с ним... Да ну! Не надо больше об этом думать. Ни о чем не надо думать! Вздыхая, Сезанн снова погружается в свои книги, но мысли его витают бог знает где.

Малейший предлог, и Сезанн отлучается из конторы. Он бродит по долине, подолгу любуется картинами природы; давно знакомые, они каждый раз кажутся ему новыми. Вот он замер на месте. Все чувства напряжены, глаз оценивает краски и формы; дрожь пронизывает его, когда он глядит на терзаемые осенним ветром сосны и оливы, на устремленные к свету черные веретенообразные вершины кипарисов, на красную землю Толоне и на владычицу далей, легкую, воздушную пирамиду горы Сент-Виктуар, окрашенную в нежные тона фарфора, то голубые, то розовые в зависимости от времени дня.

Когда Сезанн возвращается в банк (отец молча наблюдает за его отлучками), узкая улочка Булегон кажется ему особенно мрачной. Серый свет падает из окон на серые книги. Серое на сером. Однообразие и застой. «Страшная штука жизнь!» Сезанн с отвращением отталкивает от себя всю эту непостижимую для него тарабарщину. Мертвые цифры. Мертвое существование. Глядя перед собой невидящим взглядом, он невольно вспоминает плоть, сияющую с полотен Рубенса. Он вспоминает пламенные речи, какие произносил Амперер перед творениями Тинторетто, «самого мужественного из венецианцев». Картины Лувра, картины Люксембурга, картины Салона – какое пиршество для глаз! Отточенный карандаш

дрожит в пальцах Сезанна; несколько линий, легкий набросок... Ах, нет, только не поддаваться нелепому искушению. Нет! Нет!

Но карандаш ходит сам собой. «Неизбывно желание наше», – говорила святая Тереза.

* * *

Луи-Огюст сокрушенно качает головой. На этот раз все пропало. С некоторого времени он ясно видит, что сын вот-вот ускользнет от него. Поль поминутно исчезает. Кто-то в Жа де Буффане видел, как он усердно малевал, сидя на корточках в траве. Снова закупил он себе красок и холста. И снова записался в школу рисования.

Отец и сын молча глядят друг на друга. Так же как недавно Золя, Луи-Огюст считает, что слова бесполезны. Поль никогда не проявлял ни малейшего интереса к делам, впрочем (Луи-Огюст соболезнующе пожимает плечами), техника ведения их совершенно недоступна его пониманию. К чему терять время на пустые препирательства?

Луи-Огюсту сейчас шестьдесят три года. Если бы все шло как ему хочется, он мог бы вскоре позволить себе удалиться на покой и передать наследнику деловые секреты и власть. Ничего не поделаешь! Не будет у него преемника. Живопись снова отняла у него сына. Ну что ж! Пусть Поль поступает по своему желанию. В конце концов, как говорит г-жа Сезанн, «малыш может себе это позволить», а все благодаря отцу!

В школе рисования Сезанн снова встречает прежних друзей: Солари, Нума Коста – он теперь служит клерком в нотариальной конторе – и блистательного Жозефа Гюо, который, не довольствуясь успехами у Жибера, создал в бывшем поместье Гаскетов любительский театр: «Императорский театр Пон де д'Арк», где подвизается в качестве комика в пьесах, им самим написанных. Сезанн то ходит вместе с Нума Костом на этюды за город, то работает в Жа де Буффане, где под самой крышей устроил себе мастерскую. Луи-Огюст окончательно примирился с призванием сына и в доказательство нисколько не противится желанию Поля прорубить окно в стене дома – должна же мастерская быть хорошо освещена! – хотя внешний вид Жа, пожалуй, от этого не выиграет.

Сезанну остается лишь снова связаться с Золя. Друзья все еще не переписываются. Один только Байль в конце осени шлет Сезанну весточку и сообщает, что Золя по-прежнему без работы, но надеется в ближайшее время поступить в фирму Ашетт; но Сезанн не подозревает, в какой жестокой нужде живет Золя.

В ту лютую зиму 1861 года юный поэт-идеалист – ему всего лишь двадцать один год, – стремясь «овладеть рифмой», продолжает слагать сотни александрийских стихов; он ведет нищенское существование. У него нет ни денег, ни хлеба, ни дров, а следовательно, и огня. Зачастую Золя приходится закладывать все с себя, и тогда ему даже не во что одеться. Спасаясь от холода, он заворачивается в одеяла, он называет это «разыгрывать араба», и дня на три-четыре замуровывается в своей комнате, где стоит спертый воздух (окно совершенно обледелено) и куда проникают мерзкие звуки притона. Золя живет впроголодь. Силы постепенно оставляют его; он болен. Причем недуг его не столь телесный, сколь душевный: он болеет главным образом от сознания того, что «упускает не только настоящее, но и будущее». Тем не менее его надежда завоевать Париж, надежда, подхлестываемая из последних сил, не умерла. «Дух бодрствует и творит чудеса, – говорит Золя. – Мне даже кажется, что в страданиях я вырос, стал лучше видеть, слышать. У меня появились новые чувства, отсутствие их мешало мне прежде правильно судить о некоторых вещах».

Один знакомый по Эксу свел его с небольшим кружком студентов, весьма воинственно настроенных по отношению к империи. Студенты издают в Латинском квартале сатирический листок «Ле Травай». Им нужен поэт. Золя предлагает свои стихи; их принимают, печатают, хотя своим идеализмом, слегка окрашенным религиозностью, они очень не попра-

вились редактору, двадцатипятилетнему властному вандейцу, у которого резкие движения, повелительный тон и на первом месте дела, а не слова. Имя этого вандейца – Жорж Клемансо. «Продержись газета хоть немного, – думает Золя, – я бы сделал в ней первые шаги на пути к известности». Но «Ле Травай» находится под надзором полиции, а та только и ждет случая, чтобы начать преследование.

Золя надеется не сегодня-завтра получить приглашение от фирмы «Ашетт». Его рекомендовал туда старинный друг его отца, г-н Будэ, член Академии медицинских наук. Фирма, как назло, не торопится. 1 января 1862 года г-н Будэ просит Золя не в службу, а в дружбу разнести во все концы Парижа его новогодние поздравления. Замаскированное подаяние: Золя заработал на этом луидор. С Байлем они видятся неизменно по воскресеньям и средам («мы отнюдь не смеемся»), с ним Золя говорит о прошлом, о будущем и, разумеется, время от времени, и довольно часто, о Сезанне. Золя никогда не представлял себе, что Поль так быстро падет духом, бросит все, едва споткнется о первый камень. Какое малодушие! Борьбе и славе Сезанн предпочел легкий, торный путь; предпочел пошлое благоразумие.

Потом вдруг в январе приходит письмо от Сезанна: он думает в ближайшее время, приблизительно в марте, вернуться в Париж; он снова рьяно взялся за живопись. «Дорогой мой Поль, – не откладывая, отвечает ему Золя, – давно не писал я тебе, а почему, и сам не знаю. Нашей дружбе Париж не на пользу; быть может, ей, чтобы весело жить, нужно солнце Прованса? По какому-то злополучному недоразумению, конечно, в наших с тобой отношениях появился холодок... Ничего, я по-прежнему считаю тебя своим другом и знаю, ты веришь мне и по-прежнему уважаешь меня... Однако пишу это письмо не для объяснений. Хочу лишь дружески ответить на твое послание и немного поболтать с тобой, так, как если бы ты никогда не приезжал в Париж».

Всю раннюю провансальскую весну Сезанн работает. Он чувствует, что переродился с тех пор, как снова взялся за кисть. Сезанн мог бы, уподобясь Золя, сказать, что в испытаниях вырос, что стал лучше видеть и лучше слышать. Теперь только он постигает истинную сущность своей натуры, понимает, что ему свойственно непостоянство, потребность в перемене, и она, эта потребность, вечно движет им и гонит его с места на место. Сегодня в Эксе его преследует мысль о Париже; завтра – Сезанн это отлично знает, – едва ступив ногою в Париж, он будет, в свою очередь, одержим мыслью об Эксе. «Место перемените, а лучше вам не станет», – гласит «Подражание Христу»⁴⁴. Нетерпеливый терпеливо присматривается к себе. Ему нужен Экс, ему нужен Париж, ему нужны оба эти города, только чередуя их, он сможет погасить раздражительность, сможет освободиться от внутренней неудовлетворенности. Он сделает этот ритм законом своей жизни. Наученный опытом, он превратит эту слабость в силу.

Вопреки своему намерению Сезанн в марте все же не встречается с Золя. Возможно, он решил подождать, пока окончательно не сломит, не переборет в себе темную силу. Впрочем, Золя сам рассчитывает приехать этим летом на несколько дней в Экс. В феврале он, наконец, поступает к Ашетту – на первых порах упаковщиком в экспедицию, но достоинства его не остаются незамеченными, и его переводят в отдел рекламы. Несмотря на такой шаг вперед, Золя все же вздыхает по утраченной свободе. Но как бы то ни было, он начинает приходить в себя. И только еще лихорадочнее пишет, пишет все вечера, все воскресные и праздничные дни, пишет не разгибаясь, не отходя от стола.

Летят недели. Приходит лето. И вот трое неразлучных снова собрались в Эксе. Сезанн пишет «Вид на Инфернетскую плотину». Золя редактирует первые страницы книги «Исповедь Клода» – повесть о несчастной любви, – горькую, жестокую повесть, пронизанную

⁴⁴ Единственная в своем роде религиозная книга, написанная классической латынью, очень сильным и своеобразным стилем. (Прим. пер.)

воспоминаниями о недавно пережитой нужде. Но все миновало, все позади. Вперед! Смелее! Будущее снова улыбается и многое сулит. «Вернулась бодрость, я верю и надеюсь!» – восклицает Золя.

Приехав в сентябре в Париж, Золя снова начинает строить планы. Он одобряет желание Сезанна делить свое время между Эксом и Парижем. «Я полагаю, – пишет Золя Сезанну, – что это именно тот способ, которым можно избавиться от влияния всевозможных школ и развить в себе какую-то самобытность, если таковая имеется». Но на этот раз пусть Сезанн поторопится. «Мы упорядочим нашу жизнь: два вечера мы будем проводить вместе, а остальные работать». И добавляет: «Наши встречи не будут потерянным временем».

Сезанн, однако, попадает в Париж лишь в начале ноября. Еще и еще раз пришлось убеждать родителей в необходимости его отъезда, снова пришлось пускать в ход веские доводы, чтобы, с одной стороны, отделаться от настойчивых уговоров любящей матери, а с другой – сломить сопротивление отца, который еще не простил его. Он хочет подучиться и подготовиться к вступительному экзамену в Школу изящных искусств – так сказал им Поль.

«Витурия молит сына своего Кориолана» – такова в нынешнем году тема («глупейшая», по мнению Золя) конкурса, которую школа живописи предложила экзаменующимся.

Часть вторая Нетерпение (1862–1872)

I. Завтрак на траве

У великого пингвинского народа больше не было ни традиций, ни духовной культуры, ни искусства... Воцарилось безграничное сплошное уродство.

Анатоль Франс. «Остров пингвинов»

Душевное состояние, в каком Сезанн возвращается в Париж, резко отличается от того, в каком он уезжал отсюда немногим более года назад. Похоже, что у него на душе стало легче. Он окончательно, раз и навсегда, осознал свое призвание. Сразу же по приезде Сезанн налаживает быт. Верный пристрастию к левому берегу, он поселяется на улице Эст; из окна комнаты Сезанну видны деревья Люксембургского сада, вдоль которого тянется эта улица. Вполне понятно, что первым делом Поль записывается в мастерскую Сюиса; не теряя ни минуты, он приступает к работе и приходит сюда регулярно два раза в день: утром он пишет здесь с восьми до часу и вечером – с семи до десяти. Ввиду того, что Вильевьей в данное время в отъезде, поправлять этюды Сезанн просит одного из его друзей, а именно Шотара.

Трое неразлучных впервые собираются все вместе в Париже. Они часто видятся, подбадривают друг друга, побуждают стремиться к тому, что соответствует наклонностям каждого из них. Запершись в своей комнате, Золя пишет все вечера до полуночи. Поэзия отошла у него на второй план, теперь он сочиняет новеллу за новеллой в надежде, что придет день, когда ему удастся напечатать их. Не может быть, чтобы, поступив к Ашетту, он тем самым поставил крест на всем. К тому же ему там скучно. Зато его служебные обязанности позволяют ему входить в соприкосновение со многими известными писателями, такими, как Тэн, Сент-Бёв, Мишле, Барбе д'Ореви́льи, Ренан, Литтре, Гизо, Ламартин, и с изрядным числом других авторов, менее знаменитых, но не менее значительных, как, например, Дюранти, непризнанный апостол реализма в литературе. Этот грустный, чуть желчный человек говорит очень медленно, тихим-тихим голосом. Золя жадно слушает его.

Встречают неразлучные и своих эских знакомых. Все такого же обезоруживающе простодушного Шайяна – он с прежней невозмутимостью переводит краски и при том никогда не подумает обратиться к кому бы то ни было за советом, и Трюфема – став в прошлом году лауреатом конкурса живописи в Эксе, он поступил в Школу изящных искусств. Знакомством с ним Сезанн, однако, не слишком дорожит. Один из друзей Трюфема считает, что он «превзошел Делакруа», этого достаточно, чтобы рассердить Сезанна: он требует уважения к своему кумиру!

Шестьдесят три года сейчас Делакруа. Он болен, доживает последние дни. А между тем талант его и по сей день признают неохотно. Стремясь ниспровергнуть его, враги Делакруа становятся на сторону Энгра; но, по существу, и Энгра больше ценят на словах, чем на деле. Живопись принятая, признанная – это живопись трусливых подражателей, которые, избрав своим жанром сюжетную живопись, наперебой стараются подсластить действительность. Это та приторная, манерная живопись, какой обучают в Школе изящных искусств. Хотя Сезанн начал свое художественное образование у конформиста Жибера, хотя Сезанн обращается за советом к Вильевьей или Шотару – художникам наиакадемического толка,

он чувствует, что такое искусство мешает его росту, что оно набивает ему оскомину. Занятное существо! Не он ли всего лишь полтора года назад восхищался полотнами, выставленными в Салоне? А ныне, собираясь поступить в Школу изящных искусств, он уже заранее инстинктивно восстает против того, чему там обучают. Чего ему надо? Он и сам не знает.

В настоящий момент живопись для Сезанна – своеобразная исповедь, средство избавления от навязчивых идей. Порывисто растирает он краски, грунтует холст и с помощью живописи выражает свой внутренний, сокровенный и сумрачный мир, извлекая на свет из самых темных недр души весь клубок копошащихся в ней чувств и сдерживаемых постыдных желаний, позволяя воспаленной фантазии создавать образы, в которых до маниакальности болезненная чувственность сочетается с какими-то мрачными вымыслами. Сезанн зубоскалит: «По мне пусть вовсе не будет женщин. Они бы только сбили меня с толку. Я даже не знаю, что с ними делают; я всегда боялся узнать». Но подобные шуточки говорят не столько о непристойной развязности, сколько о мучительном беспокойстве. Силы, которые Сезанн подавляет в себе, сотрясают его, повергают в бурное смятение.

Свои неистово страстные композиции Сезанн создает в приглушенных, мрачных, тусклых тонах, сквозь которые местами воплем вырываются яркие краски. Сезанн злится на себя за свою бездарность. Темперамента у него больше, чем знаний, и ему не удастся придать форму своим видениям. Его неестественно угловатый реализм наносит ущерб форме, искажает ее строение. Раздраженный сопротивлением материала и собственной неспособностью передать то, что он так сильно чувствует и что, неумело выраженное, еще больше мучает его, Сезанн яростно набрасывается на полотно и утяжеляет его фактуру.

В поте лица обрабатывает он свои полотна, сильными ударами шпателя накладывая краски густо, слоями, оттеняя контрасты светотени и грубо моделируя окруженные воздухом объемы, которые при всем их кажущемся беспорядке подчинены бурному, плохо сдерживаемому движению. Любопытное существо, право, этот южанин! Он весь отдает себя обостренным чувствам и стремится не столько передать эти чувства, сколько пережить их; романтик по натуре, реалист по интеллекту, он пытается – и с каким неуклюжим пафосом! – преодолеть те непримиримые тенденции, что терзают и раздирают его.

Если теперь Сезанн и падает духом, то ненадолго. В начале января 1863 года, спустя два месяца после возвращения в Париж, он пишет Нума Косту и Вильевьею: «Я спокойно работаю и потому спокойно ем и сплю». Он опять сдружился с товарищами из мастерской Сюиса, с Амперером и Оллером, с которыми время от времени ходит на этюды в окрестности Сен-Жермена (Оллер живет в Сен-Жермене). Но его самые большие друзья Писсарро и Гийеме.



Камиль Писсарро. Бульвар Монмартр. После полудня, солнечно.

Большую моральную поддержку черпает Сезанн в исполненных благоразумия словах Писсарро. Более уравновешенного человека трудно найти. Его скромность, прямота, благородство чувств, его спокойствие и уверенность, его всегда уместные советы – отдых для Сезанна; в присутствии Писсарро его нервное напряжение ослабевает. Тяга Сезанна к Гийеме совершенно другого порядка: он забавляет Сезанна – вот в чем его заслуга. Этот красавчик, четырьмя годами моложе Сезанна⁴⁵, жизнерадостный, поверхностный кутила, у которого, как о нем говорят, «внешность бретера и чувствительная душа», совершенно чужд материальных забот (отец, крупный виноторговец в Берси, ни в чем ему не отказывает). Благодаря остроумию, шуткам в духе Рабле, приветливости этот бойкий весельчак становится одним из самых любимых спутников Сезанна в его частых прогулках.

Начинается весна. Пользуясь хорошей погодой, Сезанн и Золя почти каждое воскресенье отправляются за город. Первым поездом доезжают они до Фонтенэ-о-Роз, затем полянами цветов и земляники выходят к верьерским перелескам. Им случается заблудиться в них. А иногда они делают там открытия, вроде того «мшистого поросшего камышом» болота – «зеленое болото» окрестили они его, – которое отныне стало конечной целью всех их уединенных прогулок. Пока Сезанн пытается написать это болото, Золя, растянувшись в тени деревьев, читает или мечтает вслух, устремив взор в небо, сквозящее в просветах листвы. Вечером на обратном пути, проходя мимо «Робинзона», они из любопытства на какую-то минуту разделяют шумную, беспечную радость, царящую в этом увеселительном месте, где кабачки разбросали свои столики меж густых развесистых каштанов.

⁴⁵ Гийеме родился в Шантильи в 1843 году.

В воздухе веет теплом. Шарманки бесконечно нанизывают вальс за вальсом. Под фонарями сплошной разлет белых платьев. Смех, «словно дрожь», пробегает в ночи.

Беспечная парижская молодежь веселится.

* * *

На вступительном экзамене в Школу изящных искусств Сезанн провалился. «Пишет с излишествами», – заявил один из экзаменаторов. Сезанн рвет и мечет. Он не может не досадовать: поражение кажется ему незаслуженным. Но Писсарро унимает Сезанна. Пусть он не портит себе кровь: знания, какие дает эта школа, застыли в рамках бесплодных условностей; из этой школы живая живопись, живопись завтрашнего дня никогда не выйдет.

Многие годы живая живопись борется против официальной, борется против буржуазной, косной публики, которая, прекрасно разбираясь во всем, что касается чистогана и практических вопросов, совершенно лишена художественного чутья. В глазах такой публики талант Коро также мало заслуживает внимания, как и талант Делакруа; ее в равной степени раздражают и Милле и Курбе. Все смелое ее настораживает; все самобытное ей претит. Жюри Салона, чье суждение для дилетантов закон, вынося приговор живой живописи, отражает мнение огромного большинства. Мэтры, которым кадит Салон, вертят им как хотят. Их неизменно дурной вкус влияет на отбор работ, присланных на жюри.

Среди художников все это неизбежно вызывает ропот недовольства, ибо быть принятым в Салон, быть выгодно экспонированным – единственное условие, при котором художник получает возможность продать свои полотна. Вот почему такие качества, как беспристрастие и добропорядочность, не отличают членов жюри. Здесь каждый покровительствует своим ученикам, друзьям. Имеет здесь место и своеобразный торг: если вы подадите голос за моих протеже, я подам за ваших. Принимают картины, отвергают картины, даже не взглянув на них. К тому же огромное, в несколько тысяч полотен, скопление представленных работ не способствует уменьшению той неразберихи, какая создается в результате интриг. Недавно произошел даже такой случай: то ли по причине крайней усталости, то ли по недосмотру жюри, не потрудившись прочесть подписи, чуть было не отвергло картины своих членов, но вовремя спохватилось. Подобная оплошность больше не повторится. Мера мудрой предосторожности повелела, чтобы работы членов академии, а также медалистов предыдущих салонов проходили «вне конкурса»: отныне эти полотна принимаются без просмотра.

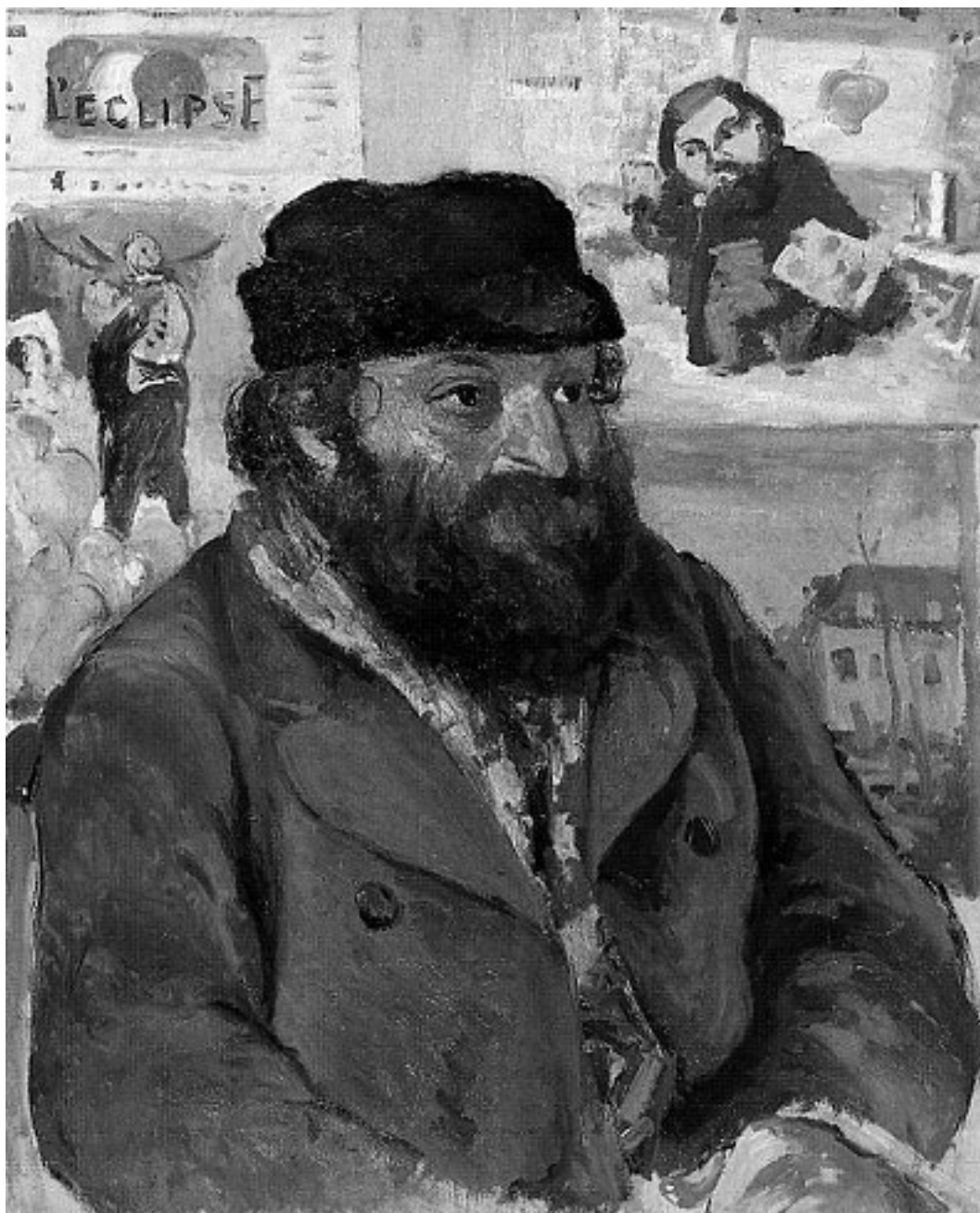
Жюри Салона 1863 года – открытие его состоится 1 мая – под известным нажимом проявляет исключительную строгость. Особенную жесткость и непримиримость оно вызывает в отношении работ, не являющихся, так сказать, академическими в самом узком и общепринятом значении. Больше трех тысяч полотен отвергнуто. Писсарро, один из пейзажей которого удостоился чести быть принятым в Салон 1859 года, на сей раз числится среди отвергнутых художников.

Теперь пришел черед Сезанна утешать друга.

В этом году жюри своей крайней суровостью обострило недовольство художников. Слух об этом дошел до Тюильри. 22 апреля во Дворец промышленности, где, как всегда, должна была происходить выставка Салона, приехал император; после беглого осмотра непринятых работ он постановил – решение сенсационное – выставить эти работы на обозрение публики, но в другом конце дворца. Таким образом, каждый сможет самостоятельно разобраться, в чем суть дела. «Выставка непринятых работ» откроется 15 мая – через две недели после открытия Салона. Императорский указ об учреждении этой выставки был 24 апреля опубликован в «Монитёре» – официальном органе.

Большое волнение вызывает указ в кругу художников и у публики; мнения расходятся. Одни превозносят императора за либерализм. Другие порицают его за то, что он тем самым

как бы ставит под сомнение выбор жюри. Иные, ни на минуту не сомневаясь в непогрешимости этого выбора, заранее радуются: пусть посредственные художники получают, таким образом, суровый и заслуженный урок. Кстати, художники могут, если пожелают, воздержаться от участия в выставке и забрать свои работы. Кое-кто колеблется. Рискнуть выставиться? А что, если подвергнешься издевательствам и насмешкам и дашь таким образом козырь в руки всем этим академическим критикам? А не выставиться, значит, дать им все же этот козырь и, расписавшись в своей несостоятельности, признать их суждение правильным. Однако подобная дилемма не встает перед художниками, находящимися в конфликте с приверженцами официального искусства; самый подходящий случай, считают они, чтобы обратиться непосредственно к публике. К числу таких художников, разумеется, принадлежит и Писсарро. Три его пейзажа будут выставлены во Дворце промышленности.



Камиль Писсарро. Портрет Поля Сезанна.

Триста художников, представивших свыше шестисот работ – картин, гравюр, рисунков и скульптур, – собрались 15 мая в залах, предоставленных отверженным. Полотна, выставленные на обозрение любопытным, висят попеременно: лучшие рядом с худшими. Жюри Салона – ему, что ни говори, императорский указ – нож острый – постаралось отвести самые выигрышные места для самых никудышных работ. Как только выставка открылась, во дворец повалили толпы народа; успех был мгновенный, грандиозный (в первый же день тут сгрудилось семь тысяч посетителей), доказательство успеха – опустевший Салон; шутники уверяют, что впредь члены жюри сделают все от них зависящее, чтобы попасть в число отверженных. Но этот баснословный успех прежде всего торжество курьеза. Побуждаемая прессой, считающей все эти полотна смехотворными, толпа глумится над ними. На эту выставку приходят только повеселиться. Такая выставка – для Парижа большой аттракцион. Мужчины, женщины, представители высшего общества, буржуа, дамы полусвета – все устремились туда, заранее упиваясь предстоящим спектаклем, готовые уже с порога прыснуть, громко съязвить. Злые языки и бойкое журналистское перо изошряются в прозвищах: Салон побежденных, Салон париев, Салон отщепенцев, Выставка комиков, Салон отверженных; последнее прозвище так и останется за этой выставкой: отныне ей не будет другого имени, разве что кое-кто из особо желчных академиков назовет ее под сурдинку Салоном императора.

Молодые художники, естественно, устремляются в Салон отверженных, и первым Сезанн. Много там, конечно, ужасающе пошлых работ, но зато никогда еще не было собрано вместе столько первоклассных полотен, выражающих самые смелые тенденции века. Публика равно осмеивает и те и другие или, вернее, направляет стрелы своего сарказма преимущественно на все самое выдающееся и свежее. Эдуар Мане, который всего лишь два года назад получил почетный отзыв за свою картину «Испанец, играющий на гитаре», ныне числится в «ссылных». Сейчас здесь выставлены его три полотна и три офорта. Одна из его картин, а именно «Купанье», – произведение, которое из всех выставленных здесь полотен вызывает наиболее пошлые балаганные шутки, а также возмущение и пересуды. Все кругом кричат о безнравственности, и только потому, что на картине изображены двое одетых мужчин и нагая женщина, сидящие на берегу реки; вдали видна фигура другой полуодетой женщины. Вот это и есть образец совершенно непристойного модернизма. К тому же технически полотно это разработано в самой вызывающей манере, с полным пренебрежением к академическим канонам. Ни полутонов, ни точно очерченных форм, ни черных, добросовестно выписанных битюмом теней. Смелое, оскорбительное по своей простоте исполнение. Светлые краски создают резкие цветовые контрасты и кажутся всем кричащими. Какая грубятина! Эту картину – сам император счел ее непристойной – не замедлили шутки ради пожаловать новым названием: «Завтрак на траве».



Эдуар Мане. Завтрак на траве.

Затерянный в этой глумливой, бурлящей, гудящей толпе, что, словно слипшаяся в один живой ком, топчется перед полотном Мане, Сезанн смотрит на этот поруганный шедевр, который с промежутком в три с половиной столетия сюжетно повторяет знаменитую, хранящуюся в Лувре картину Джорджоне «Сельский концерт». Как чужды искусству Мане весь официальный вздор, всякие аллегии, огромные исторические полотна, красочная экзотика, жанровые сценки в беззубо галантном стиле, с названиями вроде «Сестры моей нет дома», «Фру-Фру» или «Маленький пирожник». Конечно, живопись Мане тоже весьма далека от того, что сам Сезанн в данное время ищет. Но его восхищают в ней смелость, цвет, четкость фактуры, уверенное воспроизведение реальности, которую она отражает столь гармонично, со столь проникновенным чувством. «Мане – это мастер, – думает Сезанн, – а его полотно, что ж, его полотно – здоровый „пинок в зад“ всем этим господам из института и Школы изящных искусств».

Поддерживая борьбу Мане против филистеров, Сезанн шумит, уснащает речь словечками, принятыми в среде художников, – «бозары»⁴⁶, так говорит он теперь, утрируя свой южный акцент. При всей своей застенчивости он сознательно дает повод толкам о себе. Хорошо понимая, сколь вызывающий характер носят его убеждения, он в запале еще преувеличивает их и, стремясь уйти от самого себя, нарочито шокирует публику откровенным и плоским фиглярством. Остроты его передаются из уст в уста. Неудачники рукоплещут ему. Сезанн, и без того всегда равнодушный к своему внешнему виду, теперь из бравады доводит эту небрежность до карикатурности.

⁴⁶ Слова «Beaux Arts» (по-французски «изящные искусства») при чтении произносятся слитно: «бозар». (Прим. пер.)



Джорджоне. Сельский концерт.

Золя не сдерживает упрека. Он не понимает, как можно до такой степени опуститься. Ему-то самому поношенная одежда доставила немало горьких минут! Но в конце концов тем хуже для Поля! Это его дело! При всем том Золя с удовольствием сопровождает Сезанна в Салон отверженных, где оба друга часами обсуждают выставленные работы. Мнение их полностью совпадает. По примеру Сезанна Золя становится поклонником Мане. «Завтрак на траве» приводит его в восторг. Однако его в этой картине восхищают сюжет, модернизм, революционный порыв, а не техника и пластичность, к которым Сезанн изо всех сил старается привлечь его внимание. «Завтраком на траве» оба единомышленника восторгаются одинаково чистосердечно, но один говорит о ней как художник, а другой как писатель.

Резко обозначив разногласия, которые навсегда отгородили живопись, ищущую новых путей, от склеротического официального искусства, Салон отверженных пробудил самосознание в целом поколении молодых художников. В ходе случайных встреч, бесед у них возникает взаимное дружеское расположение, они объединяются, создают товарищества. Живчик Гийеме познакомил Сезанна с юным обитателем Монпелье – Фредериком Базилем; выходец из богатой протестантской семьи виноградарей, он приехал в Париж, чтобы отдаться полностью своей страсти – живописи, но в угоду родителям продолжает одновременно учиться на медицинском факультете. В столице он живет с ноября прошлого года, как раз с того времени, как сюда вернулся Сезанн. Этому великану, добродушному великану с кротким взглядом всего лишь двадцать один год⁴⁷, а он уже на голову выше своих друзей. Тонкое лицо, оттененное кольцом густой белокурой бороды, сливающейся с пышными

⁴⁷ Базиль родился 6 декабря 1841 года.

длинными усами, дышит тихой грустью, присущей тем юным созданиям, которым суждено умереть в расцвете лет.

Базиль записался в мастерскую, руководимую преподавателем Школы изящных искусств Глейром. Но, несмотря на всю покладистость Базиля, на его готовность быть исполнительным, ему очень скоро становится скучно в этой школе. В силу особенностей своего дарования он питает склонность к живописи Делакруа, к живописи Курбе; картина Мане, увиденная в Салоне отверженных, стала для него откровением. Сезанн и Базиль поклоняются одним и тем же кумирам, и это их роднит. К тому же подкупающая приветливость нового друга, его ровный, веселый нрав в соединении с присущей южанам порывистостью благотворно влияют на Сезанна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.